

- [Василь Владимирович Быков](#)

- 



# Василь Владимирович Быков

## Журавлиный крик

### 1

Это был обычный железнодорожный переезд, каких немало разбросано по стальным магистралям страны.

Он выбрал себе довольно подходящее место, на краю осоковой болотистой низинки, где оканчивалась насыпь и рельсы укатанной однопутки недолго бежали вровень с землей. Грязный разъезженный проселок, что сползал с пологого пустого пригорка, пересекал здесь железную дорогу и, обогнув край картофельного поля, сворачивал в сторону леса.

Переезд был старый, некогда заботливо ухоженный, с полосатыми столбиками и такими же полосатыми шлагбаумами по сторонам старенькой, оштукатуренной будки-сторожки, в которой возле жарко натопленной углем печки дремал какой-нибудь ворчливый караульщик-старик. Как издавна заведено на всех переездах, он скучающе поглядывал в окно на нечастых здесь путников и оживлялся лишь перед приходом поезда, когда спешил опустить черно-белые дышла шлагбаумов. Теперь же дорога в оба конца лежала пустая, никого не было и на грязном разбитом проселке, поодаль валялся втоптаный в грязь шлагбаум; а в будке-сторожке самовластно хозяйничал напористый осенний ветер, нудно поскрипывавший распахнутой настежь дверью. Казалось, никому уже не было дела до этого заброшенного переезда, этого унылого поля и этих неизвестно где начинавшихся и неведь куда уходящих дорог.

Но дело нашлось, постепенно прояснялось в сознании всех шестерых, уныло стоявших на ветру с поднятыми воротниками шинелей и слушавших комбата. Тот ставил им новую боевую задачу.

– Дорогу перекрыть на сутки, – простуженным голосом говорил капитан, высокий костлявый человек с усталым лицом. Ветер зло хлестал полой плащ-палатки по его грязным сапогам, рвал на груди длинные тесемки завязок. – Завтра к вечеру отойдете за лес. А день – держаться...

Перед ними в осеннем поле высился косогор с дорогой, на которую сыпали пожелтелую листву две большие коренастые березы, и где-то на

горизонте заходило невидимое солнце. Узенькая полоска света, пробившись сквозь тучи, подобно лезвию бритвы, тускло блестела в небе.

– А с шанцевым инструментом как? – прокуренным басом спросил старшина Карпенко, командир этой небольшой группы. – Лопаты нужны.

– Лопаты? – задумчиво переспросил комбат, всматриваясь в блестящую полоску заката. – Поищите сами. Нет лопат, И людей нет, не проси, Карпенко, сам знаешь...

– Да, и людей не мешало бы, – подхватил старшина. – А то что пятеро? И то вон один новенький, а другой шибко «ученый» – тоже вояки! – зло ворчал он, стоя вполоборота к комбату.

– Противотанковые гранаты, патроны к пэтээру, сколько можно было, вам дали, а людей нет, – устало говорил комбат. Он все еще всматривался в даль, не сводя глаз с заката, а потом, вдруг встrepенувшись, повернулся к Карпенко – коренастому человеку с тяжелым малоподвижным взглядом. – Ну, желаю удачи.

Капитан подал руку, и старшина, уже весь во власти новых забот, равнодушно пожал ее. Также сдержанно пожал холодную руку комбата и «ученый» – высокий, сутулый боец Фишер; без обиды, открыто взглянул на командира новичок, на которого жаловался старшина, – молодой, с наивными глазами, рядовой Глечик. «Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест», – беспечно пошутил пэтээровец Свист – белобрысый, в расстегнутой шинели, шустрый с виду боец. С чувством сдержанного достоинства подал свою пухлую ладонь неповоротливый, мордастый Пшеничный. Почтительно, пристукнув грязными каблуками, попрощался чернявый красавец Овсеев. Поддав плечом автомат, командира батальона тяжело вздохнул и, скользя по грязи, пустился догонять колонну.

Озабоченные выпавшей на их долю новой задачей, шестеро какое-то время молча смотрели вслед капитану, батальону, коротенькая, совсем не батальонная колонна которого, мерно покачиваясь в вечерней мгле, медленно удалялась к лесу.

Впереди всех молча стоял злой и недовольный старшина Карпенко. Какая-то еще не совсем осознанная тревога все настойчивее овладевала им. Усилием воли Карпенко, однако, подавил ее и обернулся к маленькой группе притомившихся, озябших на ветру и примолкших бойцов.

– Ну, чего стоите? Геть за работу! У кого есть лопатки, копать. Пока светло...

Привычным рывком он вскинул на плечо тяжелый ручной пулемет и, с хрустом ломая придорожные стебли бурьяна, пошел вдоль канавы. Остальные нехотя потянулись за своим командиром.

– Ну вот, отсюда и начнем, – сказал Карпенко, опускаясь на колено у канавы и выглядывая поверх железной дороги. – Давай, Пшеничный, фланговым будешь. Лопатка есть? Начинай.

Коренастый, крепко сбитый Пшеничный развалисто вышел вперед, снял из-за спины винтовку, положил в бурьян и стал вытаскивать засунутую за пояс саперную лопатку. Отмерив от него шагов десять вдоль по канаве, Карпенко снова присел и оглянулся, ища глазами, кого назначить на новое место. С его грубоватого лица не сходили озабоченность и злое неудовлетворение теми случайными людьми, которых выделили для выполнения этой далеко не легкой задачи.

– Ну, кому тут? Фишеру, что ли? Хотя у него же и лопатки нет. Тоже вояка! – озлился старшина, поднимаясь с колена. – Сколько на фронте, а лопатки еще не достал. Ждет, наверно, когда старшина даст? Или немец в подарок пришлет?

Фишер, заметно задетый длинным упреком, не оправдывался и не возражал, только неуклюже горбился и без нужды поправлял на носу очки в черной металлической оправе.

– В конце концов, чем хотите, а копайте! – бросил Карпенко, глядя, как это он всегда делал, когда выговаривал, куда-то вниз и в сторону. – Мое дело маленькое. Но чтобы позицию оборудовал.

Он направился дальше, сильный и уверенный в словах и движениях, словно был не командиром взвода, а, по меньшей мере, командиром полка. За ним покорно поплелись Свист и Овсеев. Оглянувшись на Фишера, Свист сдвинул на правую бровь пилотку и, показав в улыбке белые зубы, съязвил:

– Задача профессору, ярина зеленая! Попотеет, ха!

– Не болтай, – живо оборвал старшина. – Марш вон к белому столбику на линии и копай.

Свист свернул в картофляник, еще раз с улыбкой оглянулся на Фишера, который неподвижно стоял у своей позиции и озабоченно теребил небритый подбородок.

Карпенко с Овсеевым подошли к сторожке. Старшина, ступив на порог, потрогал перекошенную скрипучую дверь и по-хозяйски оглядел помещение. Из выбитого окна дул сквозной ветер, на стене болтались обрывки порыжелого плаката, некогда призывавшего разводить пчел. Пол был засыпан кусками штукатурки, комями грязи, соломенной трухой. Воняло сажей, пылью и еще чем-то нежилым и противным.

– Кабы стены потолще, было бы укрытие, – несколько другим тоном, рассудительно сказал Карпенко. Овсеев протянул руку, пощупал отбитый бок печи.

– Что, думаешь, теплая? – сдержанно усмехнулся старшина.

– А давайте протопим. Раз не хватает инструмента, можно по очереди копать и греться, – оживился боец. – А, старшина?

– Ты что, к теще на блины прибыл? Греться! Подожди, вот придет утро – он тебя согреет. Жарко станет.

– Ну что ж... А пока какой смысл мерзнуть? Затопим печку, окна завесим... Как в раю будет, – настаивал Овсеев, поблескивая черными цыганскими глазами.

– Хватит болтать. Становись вон за Свистом и окапывайся.

Выйдя из будки, Карпенко столкнулся с Глечиком, который тащил откуда-то согнутый железный прут.

– Вот ковырять вместо лома. А выбрасывать и пригоршнями можно, – сконфуженно улыбнулся Глечик.

Старшина придирчиво взглянул на него, но, не найдя, чем упрекнуть, сказал просто:

– Так. Давай вот здесь – по эту сторону сторожки, а я – по ту, в центре. И не тяни. Пока светло, чтоб окопался.

Вечерело. Из-за леса ползли сизые, набрякшие влагой тучи. Они тяжело и плотно обложили небо и совершенно стерли блестящую полосу над косогором. Стало сумрачно и холодно. Ветер с осенней яростью тербил березы у дороги, выметал канавы, гнал через железнодорожную линию шуршащие стайки листвы. Мутная вода, выплескиваясь из луж от сильных порывов ветра, кропила обочину студеными грязными брызгами.

Бойцы на переезде дружно взялись за дело: копали, вгрызались в затвердевшую залежь земли. Не прошло и часа, как Пшеничный чуть не по самые плечи зарылся в серую кучу глины. Далеко вокруг отбрасывая рассыпчатые комья, легко и весело оборудовал свою позицию Свист. Он снял с себя все ремни и шинель и, оставшись в гимнастерке, ловко орудовал маленькой пехотинской лопаткой. В двадцати шагах от него, тоже над линией, время от времени останавливаясь, отдыхая и оглядываясь на друзей, с несколько меньшим старанием окапывался Овсеев. У самой будки со знанием дела оборудовал пулеметную позицию Карпенко; по другую сторону от него старательно долбил землю раскрасневшийся, потный Глечик. Взрыхлив прутом грунт, он руками выбрасывал комья и снова долбил. Один только Фишер тоскливо сидел в бурьяне, где оставил его

старшина, и озябшими руками листал какую-то книжку.

За этим занятием и увидел его Карпенко, когда, приостановив работу, вышел из-за сторожки. Озабоченного старшину передернуло. Выругавшись, он набросил на потную спину залубенелую от грязи шинель и вдоль канавы направился к Фишеру.

– Ну что? Долго так будете сидеть? Может, думаете, если нечем копать, так я вас в батальон отправлю? В безопасное место?

С виду безразличный ко всему, Фишер вскинул голову, его близорукие глаза под стеклами очков растерянно заморгали, затем он неловко поднялся и, заикаясь от волнения, быстро заговорил:

– М-м-можете не беспокоиться, это исключено. Я н-н-не меньше вас понн-н-н-нимаю свои обязанности и сделаю все без лишних эксцессов. В-в-вот...

Слегка удивленный неожиданным выпадом этого тихого человека, старшина не сразу нашелся, что ответить, и передразнил:

– Ишь ты: эсцексов!

Они встали так друг против друга: взволнованный, с дрожащими руками, узкоплечий боец и властный, полный уверенности в своей правоте командир. Нахмутив колючие брови, старшина с минуту раздумывал, как поступить с этим неумекой, а потом, вспомнив, что на ночь надобно выставить дозор, сказал спокойнее:

– Вот что: берите винтовку и – за мной.

Фишер не спросил, куда и зачем, с подчеркнутым безразличием сунул за пазуху книжку, вскинул на плечо винтовку с примкнутым штыком и, спотыкаясь, побрел за старшиной. Карпенко, на ходу надевая шинель, осматривал, как окапывались остальные. Проходя возле своей ячейки, он коротко бросил Фишеру:

– Возьми лопатку.

Они вышли на переезд и по заслеженной сотнями ног грязной дороге направились на пригорок с двумя березами.

Сумерки быстро сгущались. Небо совсем потемнело от туч, сплошной массой обложивших его. Ветер, не стихая, зло рвал полы шинелей, забирался за воротники, в рукава, выжимал из глаз студеные слезы.

Карпенко шагал быстро, не особенно выбирая дорогу и уж совсем не жалея своих новых кирзовых сапог. Фишер, подняв ворот шинели и натянув на уши пилотку, тащился за ним. К бойцу снова вернулось обычное для него безразличие, и он, скользя взглядом по загустевшей дорожной грязи, старался не шевелить забинтованной в чирьях, шеей.

Ветер ворошил в канавах листву, вокруг неуютно раскинулось пустое

осеннее поле.

На середине косогора Карпенко остановился, чтобы издали взглянуть на позицию взвода, и тут обнаружил, что его подчиненный отстал. Еле-еле переставляя ноги, тот снова уткнулся на ходу в свою книгу. Старшине был непонятен подобный интерес к книгам, и он, удивленный и рассерженный, подождал, пока боец догонит его. Но Фишер был так поглощен чтением, что, казалось, не замечал старшину, позабыл, вероятно, куда и зачем шел, только перебирал страницы и что-то тихо шептал про себя. Старшина нахмурился, но не прикрикнул, только, нетерпеливо переступая на месте, строго спросил:

– Что за библия?

Фишер, видно еще не забывший недавней их ссоры, сдержанно блеснул стеклами очков и отвернул темную обложку.

– Биография Челлини.

Карпенко заглянул в книгу, там на развороте страниц был вклеен снимок обнаженного, взлохмаченного человека, который, глядя куда-то в сторону, недовольно хмурил белые брови.

– Давид! – между тем объявил Фишер. – Узнаете?

Но Карпенко ничего не узнавал. Он еще заглянул в книжку, окинул недоверчивым взглядом Фишера. Нужно было спешить, чтобы засветло выбрать место для ночного дозора, и старшина торопливо зашагал дальше. А Фишер озабоченно вздохнул, расстегнул противогазную сумку и бережно положил туда книгу рядом с куском хлеба, старым «Огоньком» и патронами. Затем, уже не отставая, шел за старшиной.

– Вы что, взаправду ученый? – почему-то насторожившись, спросил Карпенко.

– Ну, ученый – это, может, чересчур громко. Кандидат искусствоведения, всего только.

Карпенко немного помолчал, стараясь понять что-то, а потом сдержанно, словно боясь обнаружить свою заинтересованность, спросил:

– Это что? По картинам спец или как?

– Да, по картинам. Но, главным образом, по скульптуре эпохи Возрождения. В частности, специализировался по итальянской скульптуре.

Они поднялись на пригорок, с которого открылись новые, уже затянутые вечерней мглой дали – поле, ложбина, покрытая кустарником, далекий ельник, возле него за дорогой – соломенные крыши деревни. Рядом, у канавы, качая на ветру тонкими ветвями, шелестели порыжелой листвой березы. Они были толстые и, видно, очень старые, эти извечные сторожа дорог, с потрескавшейся, почерневшей корой, густо усыпанные

шишками наростов; у одной, забитый в комель, торчал железнодорожный костыль. Возле берез старшина перепрыгнул канаву и, зашуршав по стерне сапогами, направился в поле.

– А он что, этот голый, из гипса вылеплен или как? – спросил он, сделав явную уступку невольной своей заинтересованности.

Фишер сдержанно, одними губами снисходительно улыбнулся, словно ребенку, и пояснил:

– Нет, не из гипса. Эта пятиметровая фигура Давида высечена из цельного куска мрамора. Гипс для монументальной скульптуры в древности и во времена Ренессанса применялся сравнительно редко. Это уже атрибут нового времени.

Старшина снова спросил:

– Из мрамора, говоришь? А чем же он такую глыбу высек? Машиной какой, что ли?

– Ну что вы? – удивился Фишер, шагая рядом с Карпенко. – Какой машиной? Безусловно, руками.

– Ого! Наверно, целый месяц долбил? – в свою очередь удивился старшина.

– Два года всего. Вообще в искусстве это еще небольшой срок, – помолчав, добавил Фишер. – Александр Иванов, например, работал над своим «Мессией» почти двадцать два года, Энгр писал «Родник» сорок лет.

– Смотри-ка! Вот это работенка! А он кто, этот, что сделал Давыда?

– Давида, – деликатно поправил Фишер. – Великий Микеланджело Буонарроти. Итальянец, уроженец Флоренции.

– Что – муссолинец?

– Да нет же. Он жил давно. Знаменитый художник Возрождения.

Они помолчали. Фишер уже держался рядом, и Карпенко искоса раза два взглянул на него. Худой, со впалой грудью, в короткой, подпоясанной под хлястик шинели, с забинтованной шеей и заросшим черной щетиной лицом боец выглядел весьма неприглядно. Одни лишь черные глаза под толстыми стеклами очков жили отражением далекой сдержанной мысли. Старшина подумал про себя, что вот ведь абсолютный неумека на войне, тем не менее за его таким неказистым видом скрывается, кажется, в общем неглупый и даже образованный человек. Правда, Карпенко был уверен, что в военном деле Фишер немногого стоит, но в глубине души он уже почувствовал нечто похожее на невольное уважение к этому бойцу.

Шагах в ста от дороги Карпенко остановился на стерне, посмотрел в сторону деревни, оглянулся назад. Переезд в ложбине едва уже серел в вечернем сумраке, но был еще виден, и старшина подумал, что место для



дозора тут будет подходящее. Он притопнул каблуком по мягкой земле и, переходя на обычный свой командирский тон, приказал:

– Вот тут и копай. Ночью спать – ни-ни. Смотри в оба и слушай. Пойдут – поднимай шум и – на переезд.

Фишер снял с плеча винтовку и, взявшись обеими руками за короткую ручку лопатки, неумело ковырнул стерню.

– Ну кто так копает! – не выдержал старшина. – Дай сюда.

Он выхватил у бойца лопатку и, легко врезая ее в рыхлую землю пашни, ловко растрассировал очертания одиночной ячейки.

– Вот на... Так и копай. Ты что, кадровой не служил?

– Нет, – со вздохом признался Фишер. – Не довелось.

– Оно и видно. А теперь вот намаешься с вами, этими...

Он хотел сказать «учеными», но смолчал, не желая вкладывать в это слово своего прежнего язвительного смысла.

Пока Фишер ковырялся в земле, Карпенко присел на стерне и, защищаясь от ветра, стал сворачивать сигарку. Ветер выдувал из бумажки махорочную труху, старшина бережно придерживал ее пальцами и торопливо завертывал. Сумерки тем временем все плотнее окутывали землю, на глазах затягивался тьмой переезд со сторожкой и сломанным шлагбаумом, растворялись в ночи далекие крыши деревни, сильнее и тревожнее шумели у дороги березы.

Закрывая от ветра трофейную зажигалку, старшина сгорбился, стараясь прикурить, но вдруг лицо его дрогнуло и перекошилось. Вытянув жилистую шею, он уставился на переезд. Фишер тоже почувствовал что-то и как стоял на коленях, так и замер в напряженной позе ожидания. На востоке, за лесом, донесенная ветром, слаженно раскатилась густая пулеметная очередь. Вскоре на нее отозвалась вторая, пореже, видно, из нашего «максима». Затем слабым далеким отсветом, прорвав вечернюю мглу, загорелась и потухла мерцающая россыпь ракет.

– Обошли! – с досадой зло бросил старшина и выругался. Он вскочил, всматриваясь в далекий потемневший горизонт, и со злостью, отчаянием и тревогой повторил: – Обошли, гады!

И, охваченный новой заботой, не разбирая дороги, побежал на переезд.

На переезде первым услышал стрельбу Пшеничный. Еще засветло он вырыл глубокий, в полный рост, окоп, сделал на дне ступеньку, с которой

можно было стрелять и выглядывать, а затем – ямку, чтобы в случае необходимости быстрее выскочить наверх. Потом старательно замаскировал ломким бурьяном бруствер и отдал лопатку Глечик, который все еще ковырял землю железным прут. Выполнив таким образом приказ старшины, он уселся на дне своего нового укрытия.

Тут было тихо и относительно уютно. Брошенная на дно охапка бурьяна защищала от зябкой сырости. Пшеничный заботливо укрыл им ноги в стоптанных грязных ботинках, вытер о полу шинели руки и развязал вещевой мешок. Там боец приберегал краюху добытого в какой-то деревне крестьянского хлеба и добрый кусок сала. Он давно уже проголодался, но на людях все не отваживался есть, потому что тогда надо было бы поделиться, а делиться Пшеничный ни с кем не хотел. Он знал, что из съестного, кроме какого-нибудь куса черного хлеба, ничего ни у кого не было. Но не его это забота, пусть каждый старается сам для себя, а на то, чтобы беспокоиться обо всех, есть начальство, хотя бы тот же Карпенко. И теперь, сидя в только что вырытом окопе, где никто его не мог видеть, Пшеничный разложил на коленях завернутое в бумажку сало, достал из кармана складной, на медной цепочке, ножик и, разделив кусок пополам, порезал одну его половину на тонкие ломтики. Остальное опять завернул в клочок газеты и спрятал на дно набитого всякой всячиной вещевого мешка.

Пшеничный аппетитно жевал своими не очень здоровыми, попорченными уже болезнью и временем зубами и думал, что нужно бы еще притащить бурьяна, зарыться в него и «покимарить», как говорит Свист, часок-другой ночью. Правда, взводный попался придирчивый и настырный, этот придумает еще что-нибудь до утра, но Пшеничный – не Глечик и не подслеповатый Фишер, чтобы покорно исполнять все, что прикажут. Во всяком случае, он сделает не больше, чем для отвода глаз, и уж себя не обидит.

Тихое течение этих праздных, медлительных мыслей было прервано далекими пулеметными выстрелами. Пшеничный с набитым ртом от неожиданности притих, прислушался, потом, сунув в карман остатки еды, вскочил. Над лесом взвилась в небо рассыпчатая гроздь ракет, осветила на миг черные вершины деревьев и погасла.

– Эй! – закричал Пшеничный товарищам. – Слышали? Окружают!..

Уже совсем стало темно. Поодаль белыми стенами выделялась сторожка, вырисовывался в небе сломанный остов шлагбаума; слышно было, как рядом, в окопе, копошится старательный Глечик и у железной дороги долбит землю Свист.

– Оглохли, что ли? Слышите? Немцы в тылу!

Глечик услышал, выпрямился в своей еще не глубокой яме. Выскочил из окопа Овсеев и, прислушавшись, через картофельное поле торопливо подался к Пшеничному. Где-то в темноте замысловато ругался Свист.

– Ну что?! – кричал из окопа Пшеничный. – Докопались! Я же говорил! Надеялись на тыл, а там уже немцы.

Овсеев, стоя рядом и вслушиваясь в звуки далекого боя, уныло молчал. Вскоре из темноты вынырнул Свист, подошел и остановился сзади настороженный Глечик.

А там, далеко за лесом, громыхал ночной бой. К первым пулеметам присоединились другие. Очереди их слились в далекий, приглушенный расстоянием треск. Беспорядочно и неторопливо щелкали винтовочные выстрелы. В черное поднебесье еще взлетела ракета, потом – вторая и две вместе. Догорая, они исчезали за мрачными вершинами деревьев, а на низком, обложенном тучами небе еще какое-то время мигали их неяркие пугливые отсветы.

– Ну? – не унимался Пшеничный, обращаясь к настороженным, примолкшим людям. – Ну?..

– Что ты нукаешь? Что нукаешь, Мурло? Запряг, что ли? – зло закричал Свист. – Где старшина?

– Фишера в секрет повел, – сказал Овсеев.

– А то нукаю, что окружили. Окружили ведь, вот и ну, – не сбавляя тона, горячился Пшеничный.

Ему никто не ответил, все стояли и слушали, охваченные тревожным предчувствием беды. А в далекой ночной тьме все рассыпались очереди, рвались гранаты, ветром разносилось вокруг негромкое эхо. Людей охватила лихорадочная тревога, сами собой опустили натруженные за день руки, тревожно засуетились недобрые мысли.

В унылом молчании и застал их старшина; запыхавшись от быстрого бега, он внезапно появился у сторожки и, конечно, сразу понял, что согнало людей к этой крайней ячейке. Зная, что в подобных случаях самое лучшее без лишних слов проявить строгость и власть, старшина еще издали, не объясняя и не успокаивая, закричал с напускной злостью:

– Ну, чего встали как столбы на обочине? Чего испугались? А? Подумаешь, стреляют! Вы что, стрельбы не слышали? Ну что, Глечик?

Глечик растерянно пожал плечами:

– Да вот окружают, товарищ старшина.

– Кто сказал: окружают? – разозлился Карпенко. – Кто?

– Что окружают – факт, не булка с маком, – ворчливо подтвердил Пшеничный.

– Молчи! Подумаешь, окружают! Сколько уже окружали? В Тодоровке – раз, в Боровиках – два, да под Смоленском! И что?

– Тогда с полком были. А тут что? Шестеро, – отозвался из тьмы Овсеев.

– Шестеро! – передразнил Карпенко. – А эти шестеро что, бабы или бойцы Красной Армии? Нас вон в финскую на острове трое осталось, два дня отбивались, от пулеметов снег до мха растаял, и ничего – живы. А то – шестеро!

– Так то в финскую...

– А то в немецкую. Одна холера, – спокойней сказал Карпенко, отрывая от газеты клочок на сигарку.

Пока он ее сворачивал, все молчали, побаиваясь вслух высказывать свои опасения и чутко вслушиваясь в звуки ночного боя. А там, кажется, постепенно становилось тише, ракеты больше не взлетали, стрельба заметно затихала.

– Вот что, – произнес старшина, послунив сигарку, – нечего митинговать. Давай копать круговую. Ячейки соединим траншеей.

– Слушай, командир, а может, лучше отойдем, пока не поздно? А? – сказал Овсеев, застегивая шинель и позвякивая пряжкой ремня.

Старшина пренебрежительно хмыкнул, давая понять, что его удивляет подобное предложение, и, отчеканивая каждое слово, спросил:

– Приказ ты слышал – закрыть дорогу на сутки? Вот и исполняй, нечего болтать. Все напряженно молчали.

– Ну, довольно. Давай копать, – уже примирительнее сказал командир. – Окопаемся и завтра как у Христа за пазухой будем.

– Как у Мурла в сидоре, – пошутил Свист. – И сухо, и тепло, и хозяин уважает. Ха-ха! Пошли, Барчук, работа не стоит, ярина зеленая, – дернул он за рукав Овсеева, и тот нехотя подался за ним в ночную тьму. Глечик тоже вернулся на свое место, а старшина некоторое время постоял молча, затянулся махорочным дымом и вполголоса, чтоб не слышали другие, зло сказал Пшеничному:

– Ты у меня покаркаешь, Я с тебя шкуру спущу за твои штучки. Попомнишь...

– Какие штучки?

– Такие, – слышалось из темноты. – Сам знаешь.

Обозленный на старшину за угрозу и взвинченный близкой опасностью, Пшеничный какое-то время стоял неподвижно, разбираясь в обуревавших его чувствах, а потом, почти мгновенно приняв решение, бросил в ночную тьму:

– Хватит!

Да, хватит. Хватит месить грязь по этим разбитым дорогам, хватит стучать зубами от стужи, голодать, хватит дрожать от страха, копать-перекапывать землю, глохнуть в боях, где только кровь, раны и смерть. Давно уже Пшеничный присматривался, ждал подходящего момента, взвешивал все «за» и «против», но теперь, попав в эту мышшеловку, наконец-то решился. "Своя рубашка ближе к телу, – рассуждал он, – а жизнь для человека дороже всего, и сохранить ее можно, только бросив оружие и сдавшись в плен. Авось не убьют, ерунда все эти сказки о немцах. Немцы ведь тоже люди..."

Ветер шумел в ушах, остужал лицо. Стараясь укрыться от него и отдаться разбуженным, но еще не додуманным до конца мыслям, Пшеничный снова опустился в окоп. Траншею копать он не стал, пусть это делает Глечик, а он уже отработал свое. Ему тут никого не было жаль. Старшина зубастый и въедливый, как фельдфебель; Витька Свист – блатняга и брехун – все Мурло да Мурло. Правда, он и остальных, кроме разве Карпенко, тоже наделил кличками: Овсеев у него Барчук, Фишер – Ученый, Глечик – Салага. Но те все молодые, а он, Пшеничный, раза в полтора старше каждого. Только Карпенко его возраста. Овсеев, тот и в самом деле барчук, избалованный с детства белоручка, способный в учебе, но лентяй в труде; Глечик еще пацан, послушный, но совсем не обстрелянный, боязливый подросток, того и гляди, струсит в бою; Фишер – подслеповатый книжный червяк, из винтовки выстрелить не умеет, зажмуривает глаза, когда нажимает спуск, – вот и войой с такими. С ними разве осилишь тех, сильных, обученных, вооруженных до зубов автоматами да пулеметами, которые стреляют, будто швейные машинки строчат...

В тиши окопа слышно, как неподалеку долбит землю Глечик, изредка поскрипывает от ветра дверь сторожки и шумит-высвистывает свою осеннюю песню высохший бурьян в канаве. Стала донимать стужа. Пшеничный достал из кармана остатки сала, съел, а потом съежился и, сомкнув руки, притих – отдался течению мыслей, заново переживая все свои беды.

Нескладно и горько сложилась его жизнь.

Первые впечатления от обиды цепко и долго держатся в человеческой памяти. Иван теперь живо помнит то трудное голодное лето, когда бабы из

соседней деревни Ольховки с пасхи бродили по межам, собирали щавель, крапиву; пухли с голоду дети и старики; черные и молчаливые от горя, всю весну ходили через хутор в поле Ольховские мужики. Люди ели траву, толкли древесную кору, терли полову, рады были горсти просеянных отходов, чтобы подмешать в травянистую, противную пищу, склеить «травяники». У них на хуторе тоже было не густо, но травы они все же не ели – доились две коровы, и в клетки в закромах кое-что еще имелось. Тем летом судьба свела тринадцатилетнего Ивана с деревенским парнем Яшкой. И наверно оттого, что в свое время он не сумел сделать выбора между ним и отцом, столько несчастий настигло Пшеничного в жизни.

Однажды на какой-то праздник – Петра или троицу – в душный летний вечер, когда опустившееся к горизонту солнце заметно растратило уже свой дневной жар, тринадцатилетний Иванка возвращался на хутор. Незадолго перед тем родители приехали с базара, и он отвел в кустарник коня, где спутал его и пустил пастись. Уже подходя к высоким массивным воротам своей усадьбы, услышал разговор во дворе – чей-то жалобный женский голос и частое недовольное покашливание отца. Отец в новой праздничной рубаше и жилетке сидел на ступеньках крыльца и посапывал трубкой, а рядом, сгорбившись, закрыв лицо низко повязанным платком, стояла вдова Мирониха – их дальняя по матери родственница, она плакала и чего-то просила.

В ту минуту, когда Иван входил во двор, как раз наступила пауза. Женщина с надеждой и страхом уставилась на отца, прикрыв рот уголком платка, а отец зло, как сразу заметил Иван, пускал клубы дыма и молчал.

«Ладно, – наконец подал он голос. – Пусть придет. Дам пудик. А завтра на зорьке чтоб тут был. Косы не нужно, косу мою возьмет».

Женщина перестала плакать, высморкалась, начала кланяться и благодарить, а отец молча поднялся и пошел в дом.

На рассвете следующего дня мать, как всегда, ласково разбудила Иванку на сеновале, подала завязанный в рушник завтрак – кусок ветчины и краюху хлеба. Он всегда в такое время носил отцу в поле еду, но на этот раз еды было вдвое больше. Иванка догадался: это помощнику. Работников они нанимали и раньше – в косьбу, жатву, молотьбу, но держали недолго: отец был требовательный, очень въедливый, жадный к работе, и мало кто мог угодить ему.

Выйдя из ольшаника, Иван увидел наполовину скошенный лужок, а в конце его – отца и Яшку Тереха. Но, видно, что-то там стряслось, потому что они не косили, а стояли друг против друга. Отец одной рукой держал сломанную у шейки косу, другой – косовище и зло смотрел на Яшку.

Батрак, одетый в нательную рубашку, с закатанными до колен штанами, почесывал худую грудь и виновато оправдывался:

– Дяденька Супрон, ей-богу, нечаянно. Замахнулся, а тут камень – и отлетела.

– Лодырь проклятый! Гультай чертов! – кричал отец, трясая густой слежалой бородой. – Такую косу сломал! Небось чужое? А? Кабы свое, иначе б смотрел, босота! Ых ты!..

Он бросил косу, обеими руками схватил косовище, замахнулся и, все больше зверея, стал им бить парня по плечам, голове, рукам, поднятым, чтоб заслониться.

Иван почувствовал, как задрожал от страха, а больше от нахлынувшего вдруг негодования. Он хотел закричать на отца: мальчику жаль было тихого, беззащитного Яшку, любителя рыбной ловли, удивительного знатока всех окрестных лесных тайн. Но Иван не закричал, а потихоньку шел к ним, с трудом переставляя ноги. Лучше бы бежать куда глаза глядят, чем видеть и слышать все это.

За сломанную косу Яшка отработывал лишнюю неделю – стоговал, сушил, возил сено, затем еще помогал в жатву. Иван к нему относился доброжелательно. После того случая на лугу он чувствовал себя очень неловко: угнетала неосознанная еще вина перед парнем и какая-то глубокая, не совсем понятная обида. Впрочем, вскоре они подружились, ходили вместе купаться, возили сено, расставляли на кротов капканы и никогда не говорили про отца. Иван знал, что Яшка ненавидит хозяина. Эта его неприязнь незаметно передалась и молодому Пшеничному. Он чувствовал, что отец скупой, злой, несправедливый, и это невольно угнетало его.

Минуло несколько лет. Иван втянулся в крестьянскую работу и, вопреки себе, во всем шел за отцом, который безжалостно школил сына в несложной земледельческой науке, постигнутой на суровом собственном опыте. Яшка вскоре пошел на службу в Красную Армию, отслужил там два года и вернулся в деревню совсем другим – повзрослевшим и как-то вдруг поумневшим. Через некоторое время он стал заводилой всех молодежных дел в деревне, начав свою общественную деятельность с кружка воинствующих безбожников.

Иван сторонился деревенских парней, в деревню ходил только по праздникам, на вечеринки, а вообще жил отчужденно – своим хутором, хозяйством, под каждодневным отцовским надзором и понуканием. Но взаимная привязанность молодого Пшеничного и бывшего батрака Яшки, видно, сохранилась в сердцах обоих, и вот однажды поздней осенью,

встретившись на деревенском выгоне, Яков пригласил его прийти вечером посмотреть репетицию «безбожницкой» пьесы. Иван, не подумав тогда, как к этому отнесется отец, согласился. Вечером смазал дегтем юфтевые сапоги, набросил поддевку и пошел. Репетиция ему понравилась. Сам он не участвовал в пьесе, зато посмотреть на других было интересно. Потом он зачастил в ту обветшалую, скособоченную вдовью хатку, где собиралась по вечерам деревенская молодежь, ближе сошелся с хлопцами и девушками. Его не обижали, хотя иногда незло подшучивали, называя молодым подкулачником.

И вот об этом как-то узнал отец. Однажды утром, расходившись, он накричал на Ивана, ударил уздечкой мать, когда та заступилась за сына, и пригрозил выгнать из хаты безбожника, позорящего честь отца. Ивану было очень обидно, но давняя закоренелая привычка во всем подчиняться его воле взяла верх, и он перестал ходить к Яшке. Яков это быстро заметил. Возвращаясь как-то вместе с мельницы, они разговорились по душам. Говорил, правда, Яшка, Иван больше слушал, потому что по натуре своей был молчалив, но не согласиться с тем, что говорилось, не мог. А Яков рассказывал о классовой борьбе, о том, что старик Пшеничный – сельский мироед, что он выжал все соки из его, Ивановой, матери, как батрака, заездил самого Ивана, что он готов подавиться от жадности.

«Слушай, как ты живешь с ним? Я удрал бы от такого злыдня. Разве он батька тебе?»

Ивану было тогда не по себе. Они шли по тихой песчаной дороге за груженными возами, и перед их глазами, уныло поскрипывая, мелькали и мелькали колеса. Иван верил Яшке и понимал, что лучше было бы порвать с отцом, пойти на свой хлеб, как-нибудь прожил бы, но на это не хватало решимости. Вот так, как следует не сомкнувшись, разошелся его путь с людьми, с теми, кто дал бы ему веру в жизнь, в собственные силы и, быть может, уберег душу от тоски одиночества.

Потом, через каких-нибудь пару лет, отца раскулачили, забрали в сельсовет все их имущество, описали постройки, а самого с матерью выслали. Иван в ту зиму жил в местечке у дяди и учился в семилетке. Дядя был неплохим человеком, как говорят, мастером на все руки. К племяннику относился, как и к своим дочерям, никогда ни в чем не упрекал его. Но по едва уловимым приметам и мелочам юноша видел, что он все же лишний, чужой в этой семье, и от этого не было Ивану радости. Учился он неплохо, понимал и любил математику и после семилетки подал документы в педагогический техникум. Он ждал экзаменов, видя в своем студенчестве единственный счастливый выход из того тупика, в который загнала его



жизнь. Но на экзамены его не вызвали, документы вскоре вернули, и в холодной казенной отписке было сказано, что в техникум его принять нельзя, потому что он – сын кулака.

Это было огромным горем для молодого Пшеничного, гораздо большим, чем раскулачивание, видеть которое ему не довелось, первой, действительно незаживающей раной в душе. Иван решил, что он не такой, как все, что тень отца, как проклятие, будет тяготеть над ним всю жизнь. Что-либо исправить в этом, казалось ему, уже было поздно.

После неудачной попытки учиться дальше Пшеничный – уже рослый, привычный к труду парень – около года перенимал у дяди его ремесло каменщика, а затем отправился в город искать своего хлеба и своего счастья.

В Брянске он поступил в артель каменщиков, попал в бригаду таких, как сам, молодых парней, возводил фабричные громады, по узким дощатым дорожкам гонял тачки с раствором, по стремянкам таскал на этажи кирпич. Себя он не жалел, работал с жаром, с отцовской въедливостью. Это вскоре заметили рабочие и начальство. Его хвалили на собраниях, ставили в пример остальным, и парень постепенно стал забывать о своей ущербности и бывших неудачах. О родителях он никому ничего не рассказывал, писем от них не получал и не знал, где они и что с ними. По ночам ему иногда снилось что-либо из детства, и сердце его сжималось тогда от жалости к тихой, забитой матери. Отца он не жалел, знал: он и там такой же несправедливый и злой.

В то время на стройке создали комсомольскую ячейку, многие хлопцы вступали в комсомол и, конечно, потянули туда лучшего каменщика Пшеничного. Он подумал, слегка колебался, а потом, поощренный доверием и повеселевший, поверил, что и он сможет стать человеком, и подал заявление. На собрании потребовали рассказать все о себе, о родителях и родных и, когда услышали, что он сын кулака-хуторянина, в приеме в комсомол отказали.

Он тяжело переживал эту неудачу, несколько дней не ходил на работу, пластом лежал на койке в общежитии. Случилось так, что не нашлось никого, кто оказался бы к нему ближе всех в ту минуту, успокоил, подбодрил. Наоборот, все как-то вдруг переменялось к нему, стали его сторониться, держаться отдельно, своей комсомольской компанией. Это была смертельная, на всю жизнь, обида. Иван Пшеничный уже окончательно уверовал в свою отверженность.

Он уехал из Брянска, жил некоторое время в Донецке, работал на шахтах и везде помнил, что он не ровня другим, что он – классовый враг,

что между ним и людьми пролегла глубокая пропасть. Порой он старался забыться в труде, иной раз – в водке, но это не забывалось, не проходило никак и нигде. Об этом ему напомнили и в военкомате, когда призывали в армию. «Ты сын кулака и будешь служить в рабочем батальоне», – сказал озабоченный суетливый капитан. И Пшеничный стал красноармейцем рабочего батальона – немного учился военному делу, а больше работал: строил железные дороги, мосты, тоннели. Это было в Сибири. Он наловчился ходить на лыжах, в соревнованиях однажды занял первое место. А когда стали готовить лыжный агитационный пробег на двести километров, для участия в нем как лучшего лыжника записали и Пшеничного. Он был рад выделиться хотя бы этим своим качеством, но и тут черная тень прошлого легла на его дороге. Уже со старта его вернул комиссар, сказав, что ему ехать нельзя, потому что у него, красноармейца Пшеничного, неладно с биографией.

После еще было много малых и больших обид, порожденных отцовским прошлым. И Иван сдался, отступил в сторону, не лез больше туда, где были не такие, как он, люди. Только сам себе, сам для себя, вопреки всему – такое житейское правило усвоил постепенно Пшеничный. Он не пренебрегал ничем: когда нужно было, обманывал, воровал, лгал, слабых презирал, сильных побаивался и ненавидел. Он понимал, что становился нечестным, иногда подлецом, злопамятным и вредным, как отец, но переделать себя уже не мог и катился все больше туда, куда гнали его обида и злость.

Когда началась война, среди огромного моря человеческого горя и слез нашелся человек, который тайно злорадствовал. Этим человеком был боец запасного батальона Иван Пшеничный, ставший затем фронтовиком и сегодня вот окончательно решивший сдаться в плен немцам,

К ночи ветер слегка успокоился, но зато откуда-то из шелестящей студеной тьмы стал накрапывать дождь. Сразу промокли вислоухие пилотки на головах бойцов, постепенно пропитывались влагой, тяжелели и становились лубяными шинели. Свежевскопанная земля быстро превращалась в грязь и липла к ботинкам.

В тяжелом молчании бойцы снова впряглись в работу. Почти ощупью они скребли в темноте лопатами, рыли траншею, чтобы соединить ею все стрелковые ячейки. Тревога, неожиданно охватившая их от недавней

перестрелки в тылу, постепенно стихала, наткнувшись на непреклонную твердость старшины. Карпенко, казалось, оставался спокойным, прежним, только разве меньше покрикивал на людей: какое-то время ночью его совсем не было слышно. Но другие тоже работали молча, больше слушали: мало ли что могла принести им эта ненастная фронтовая ночь.

Сделав свое и передав лопатку Овсееву, старшина сел на бруствер и задумался. Чем больше времени проходило с момента их расставания с батальоном, тем все озабоченнее становился Карпенко. За день они оторвались от противника, обессиленный бомбежками, полк спешил отступить в лес, окопаться, наладить оборону и как-нибудь удержаться на лесном рубеже. Дорогу на подступах к этой обороне комбат приказал удерживать сутки. Ночь вот стоит тихая, а кто знает, каким будет завтрашний день? Конечно, немцы могут пойти и другим путем, но если двинут вот этой дорогой, то их шестерке доведется хлебнуть горя.

Эта мысль все время не давала старшине покоя, грызла, точила его душу, пока он помогал Овсееву копать или сидел, вслушиваясь в ночь. С виду спокойный и всегда уверенный в себе, Карпенко на самом деле не был таким: случалось, и сомневался, и беспокоился, иногда и боялся. Но за продолжительное время службы в армии он усвоил одно немудреное правило: все сомнительное, неопределенное прятать в себе, а напоказ выставлять только уверенность и непреклонную твердость воли. «Прав или неправ, а сказал – стой на своем» – так некогда учил его старшина сверхсрочной службы Броваров, и Карпенко на всю жизнь запомнил мудрые слова старого служаки.

Дождь не переставал. Холодные струйки воды, стекая с висков, ползли за воротник, вызывая неприятный озноб. Старшина поднялся с бруствера и осмотрелся: забывать об осторожности нельзя.

Все копали. Рядом Свист и Овсеев, за сторожкой – Глечик. Со всех сторон обложила землю глухая ночь, ненастье, холод и неосознанная, как давно прошедшая забота, тревога.

Не услышав ничего подозрительного, Карпенко взял с бруствера свой мокрый «ручник» и, пряча его от дождя, поставил под стену сторожки. Потом он туда же перетащил два ящика с патронами и остановился у груды вязкой земли над траншеей, где, сопя и покряхтывая, ковырялся Овсеев. Боец почувствовал присутствие старшины; не разгибаясь и не выпуская из рук лопатки, как-то обиженно пожаловался:

– Сизифов труд. Долбишь, долбишь – и никакого следа.

– Плохо долбишь, значит, – думая о другом, сказал Карпенко.

Овсеев бросил в темную яму лопату и выпрямился.

– И вообще на кой черт все это? Полк отошел, а нами прикрылся? Как это называется?

Он еле стоял на ногах от усталости, тяжело дышал и говорил с давно накипевшей злостью.

– Это называется: выставить заслон, – спокойно ответил старшина.

– Ага, заслон? А чем кончается такой заслон, тебе, командир, известно?

– На что намекаешь? – насторожился Карпенко.

Овсеев зашевелился в траншее, швырнул в темноту ком земли и сказал тоном, в котором чувствовалось: нечего, мол, спорить о том, что и так понятно.

– Напекаю! Будто сам не знаешь: смертники мы!

– Вот что, Овсеев, – помолчав, твердо сказал старшина. – Ты думай что хочешь, но трепаться не смей! Понял?

Он не стал больше говорить с этим слишком догадливым бойцом и пошел прочь. Сапоги скользили по размокшей земле, усталое тело трясла зябкая дрожь. В непроглядной, крошечной тьме густо и споро шумел дождь, мелко барабанил по куску жести на крыше сторожки.

Старшине было неприятно, что его затаенные даже от самого себя догадки и подозрения так легко разгадал этот хитроватый, смекалистый боец. За месяц совместной службы Карпенко так и не узнал, какой на самом деле этот Овсеев и как ему, командиру, относиться к нему. В мирное время из Овсеева, скорее всего, вышел бы неплохой боец – такой на политзанятиях получал бы пятерки, был бы лучшим по физподготовке, да и в прочих науках многие позавидовали бы ему. Но теперь, в лихую годину войны, Овсеев из-за своей хитрости, чрезмерной догаливости и сообразительности относительно разных ходов-выходов не нравился старшине. Правда, до сих пор эта сторона его характера еще ничем особенным не проявлялась.

«Вот хорошо», – подумал про себя Карпенко, подходя к позиции Глечика. В ночной тьме неопределенно чернел на земле широкий бугор бруствера, а где-то в глубине траншеи все продолжала шаркать лопатка.

Карпенко помолчал, довольный старательностью молодого бойца. Хотел похвалить его, но сдержался. Такие усердные, как Глечик, в мирное время при определенных способностях тоже бывают хорошими красноармейцами, дисциплины они не нарушают, за их поступки к начальству не вызовут. Но каким он будет завтра, этот послушный тихоня Глечик? Наверное, уткнет голову в угол своей глубокой траншеи и будет дрожать как осиновый лист, пока вокруг не отгремит бой. А может, и того

хуже? Самое страшное в таких случаях – это старшина знал по себе – начало. Главное – пережить его, выстоять, а там уже станет закаляться боец.

– Ты родом откуда, Глечик? – спросил Карпенко, стоя над траншеей.

– Я? Из Беларуси, Бешенковичского района, может, слышали? – охотно отозвался боец.

– А как же ты очутился здесь, в России?

– Сбежал. Был в Витебске, в ФЗО учился, а когда немцы подошли, сбежал. В Смоленске пошел в военкомат, взяли в армию.

– Доброволец, значит? – нарочно удивился старшина.

– Да нет. Мой год уже начали призывать. Как раз в тот день приказ в военкомат пришел – брать двадцать третий год.

– Так сколько ж тебе?

– Ну считайте – с двадцать третьего года, уже восемнадцать.

– Да, немного, – задумчиво произнес Карпенко. – А почему это ты один копаешь? Где Пшеничный?

– Ладно, я и один справлюсь, – уклончиво ответил из темноты Глечик.

– Пшеничный! – позвал старшина. – Давай помогай. Ишь мне хитрец, на одного свалил все!

Где-то рядом завозился в бурьяне Пшеничный, видимо, с трудом расставаясь со своим насиженным местом в окопчике. На этот раз он не возражал, послушно ввалился в траншею к Глечику и взял из его рук лопатку.

А дождь все усиливался. Заметно тяжелела на плечах шинель, сапоги чавкали в набрякшей земле. От железной дороги старшину позвал Свист, и Карпенко пошел к нему.

– Все! Принимай работу, – объявил боец. Старшина спрыгнул в траншею, сделал несколько шагов, в одном месте она была до пояса – не выше.

– Давай глубже, так не пойдет. Свист витиевато выругался, постоял, отдышался и, поплевав на ладони, снова начал копать.

Наверное, уже к полуночи выгнутая дугой траншея кое-как соединила пять стрелковых ячеек. Не везде она была нужной глубины – на делянке Пшеничного, на долю которого вместе с Глечиком выпал еще и участок Фишера, она доходила не больше чем до колен. К тому же получилась

кривая и угловатая. Оно и понятно – ночная работа. Впрочем, на это не обращали внимания ни бойцы, ни их командир.

Все они сильно вымокли. В полночь Свист, первым кончив работу, вошел в сторожку, заткнул какой-то ветошью оба ее окошка и принялся растапливать печку. Старшине, пришедшему туда следом, его самоуправство не очень понравилось, но он все же не возразил ни Свисту, ни Овсееву, когда тот присоединился к этому занятию. Карпенко понимал, что, как ни понукай, а людям нужно отдохнуть до утра, потому что завтра их ждет немало других дел и других, куда более трудных, забот.

Так постепенно в эту покинутую людьми железнодорожную хибарку сошлись пятеро. Скоро в раскрытой печке весело затрещали сухие еловые щепки, а заботливый Свист все еще что-то щепал на полу своей пехотной лопаткой.

Особым уютом сторожка, конечно, не отличалась: дуло из окон, дым почему-то не хотел идти в трубу и, расползаясь под низким потолком, выедал глаза, но после слякоти тут все же казалось раем. Главное – было сухо, дождь и холод остались за дверью и напоминали о себе лишь порывистым завыванием ветра да стуком капель по крыше.

Карпенко прилег на топчане, устало вытянув перепачканные грязью ноги. Тело его сразу одолела сладкая истома, сами собой стали слипаться глаза: хотелось прикорнуть хоть на минутку.

У печки, на полу, уставясь на мигающий огонь, сидели Овсеев и Свист, в темноте, у порога, кряхтя и посапывая, переобувался Пшеничный. Сзади всех расплывчато белело детское лицо Глечика.

– Эх, ярина зеленая, думаю иногда и диву даюсь, как это неважнецки человек устроен, – рассудительно заговорил Витька Свист, вороша щепкой уголья. – Есть много, хочется еще больше. А нет ничего, какой-нибудь пустяк – мечта. Вчера под Озерками, когда нас танки турнули, я только и мечтал: скорей бы стемнело. Казалось, все бы отдал за минуты темноты. А теперь вот и немцев нет, и танков не слышать, так хочется еще и тепла, и жратвы. Чудно...

– Открыл Америку, – буркнул Овсеев. – Еще Шекспир сказал: «Коня, коня! Полцарства за коня!» Понимаешь? За коня. Припечет, так захочешь...

Обхватив пальцами колени, он сидел так, поглядывая в печку, усталый, раздражительный и невеселый.

– А что это немцы сегодня выходной себе устроили? Не слышно почему-то, – накручивая обмотку, осторожно заметил Пшеничный.

Свист иронически хмыкнул:

– Придет утро, услышишь.

Он еще пошевелил щепкой огонь и вдруг воскликнул:

– Хлопцы! Идея! Давайте пожрать сообразим. А то кишка кишке марш играет. Пшеничный, доставай свой котелок.

– А что сварим?

– Ну, брат, что у кого есть. У меня – полпачки пшена.

– У меня горохового концентрата немного было, – отозвался из темноты Глечик.

– Порядочек, – потер руки Свист. Его белобрысое тонкогубое лицо засветилось неподдельным воодушевлением. – Мурло, жми за водой, да чистой набери, чтоб как из-под крана.

– Где ее наберешь теперь чистой?

– Чудак-человек, ярина зеленая. Под крышу подставь. Забыл, что баба с корытом делала?

Пшеничному не хотелось трогаться с места, но еще меньше хотелось заводить с этим Свистом. Тяжело поднявшись, он завязал вещмешок и вышел. Как только за ним хлопнула дверь, Витька молниеносно подхватил его тугой, увесистый сидор и ловко запустил туда руку.

– Так, ремень командирский на конец войны, какая-то банка, новая рубаха, сухие портянки – на, Салага, держи на смену. – Он сунул Глечiku пару портянок и снова полез в мешок. – Ага, вот она, краюха, так, так... Сахару кусочек... О, братва, сало! Ура Пшеничному, молодчина, не все слопал. Каша будет с салом.

Он тут же завязал тесемки и швырнул мешок в угол.

– Слушай, Свист, нехорошо так, – бросил с топчана Карпенко. – Спросить нужно.

– Ого, спросить! Фигу с него, жмота, возьмешь.

Вскоре вошел Пшеничный, подал Свисту котелок с водой и, кряхтя, уселся на свое место в углу. Свист, моргнув белесыми ресницами, с притворным простодушием спросил:

– Браток Пшеничный, может, у тебя найдется какой кусок к общей складчине?

Пшеничный молча покрутил головой. Свист заговорщически подмигнул друзьям.

– Ну что ж... Ограничимся гречко-овсяной смесью.

Скоро котелок с водой, втиснутый в печку, зашипел на горячих углях, а Свист на разостланной поле шинели стал растирать куски спрессованного концентрата. Овсеев уныло глядел на огонь. Неподвижно застыл за спиной Свиста медлительный Глечик. В углу неопределенно шевелилась широкоплечая тень Пшеничного. Старшина, опершись на руку,

лежал на боку, возвышаясь над своим маленьким взводом, и думал о том, как им повезет завтра, справятся ли они с той задачей, ради которой их оставили здесь? Хватит ли сил и умения? Все ли одолеют страх? Кому суждено будет выстоять до конца? Карпенко все еще не мог примириться с тем, что людей ему дали случайных, без выбора, первых, кто попался комбату, что, по его мнению, было неверно. Не нравился сегодня старшине недовольный, ушедший в себя Овсеев, немного ждал он от Глечика, знал, завтра придется смотреть в оба. Один Свист пока не вызывал опасений. Он неплохо вел себя в эти тяжелые дни отступления, но кто знает?.. Старшина слышал, что этот еще молодой боец уже побывал в тюрьме, и хоть с виду веселый и общительный, но еще неизвестно, что он носит в себе. Думалось и о Фишере. На миг старшине даже стало жаль этого ученого человека, не привычного к невзгодам военной жизни, нерасторопного и болезненного. Как они от батальона, так и Фишер от взвода подставлен теперь под первый удар, и кто знает, дождетсЯ ли он смены. Думалось, хотя бы не уснул до утра, потому что тогда может случиться беда, от которой и им не уйти. Мысли о себе не очень-то донимали Карпенко. Самому себе он был ясен, знал, что если уж понадеялись на него комбат и командир полка, то он не подведет. Может, убьют его, может, ранят, но если останется невредимым, сделает все, что от него потребуется.

Трещала, брызгала искрами печка, за стеной где-то лилась с крыши вода, шумел за окном ветер, и очень хотелось спать. Но старшина усилием воли превозмогал дрему. Бойцы сидели на полу и сосредоточенно глядели на стоявший в печи котелок.

– В общем, влипли мы на этом чертовом переезде, – тоскливо сказал Овсеев, опершись подбородком на согнутые колени. – Это уже аксиома.

Ему никто не ответил, не возразил, только Глечик вздохнул в тишине да Пшеничный громко высморкался.

– Овсеев, – глуховатым, но решительным голосом после минутной паузы сказал Карпенко, – знаешь, бери-ка винтовку и – на пост.

Овсеев круто повернулся на полу.

– А почему я? Хуже всех, что ли?

– Без разговоров.

– Давай, давай, Барчук, – заговорил Свист. – Не бойся, каши не прозеваешь. Оставим честь по чести, будь спок...

Овсеев посидел еще, потом неторопливо застегнулся и неохотно вышел, сильнее, чем нужно, хлопнув дверью.

Варево выдалось на удивление вкусным. Свист незаметно положил на дно котелка вытащенное у Пшеничного сало, от чего все это несоленое



месиво получилось довольно жирным. Ели все вместе, из одного котелка, дружно скребя по его бокам деревянными и алюминиевыми ложками, а Свист – даже трофейной вилкой, скрепленной с черенком ложки. Когда уже на дне осталось немного, Карпенко облизал ложку.

– Хватит. Остальное Овсееву с Фишером... – Ну, браток Мурло, как кашка? – хитровато подмигнув, спросил Свист.

– А ничего. Есть можно, – довольно отозвался Пшеничный. Его мордастое, толстогубое лицо стало лениво-сытым.

– За это тебе спасибо. Славное было сальце. Пшеничный удивленно захлопал глазами и тут же схватился за вещмешок.

– Ворюга ты! – зло бросил он из темноты, ощупывая свои пожитки. – За такие штучки морду бьют, сволочь блатная.

– Для твоего ж брюха, чудак-человек, – безобидно смеялся Свист. – А то б кокнули тебя завтра голодного, и какой-нибудь Ганс твое сальце да на свой бутерброд. А так вот и жизнь повеселела, будто сто граммов пропустил.

Пшеничный еще ворчал что-то в углу, а разморенный сытостью Свист сладко растянулся на полу, разбросав мокрые ноги.

– Ну вот и чудесно, – говорил он, поглаживая живот. – Давно такого удовольствия не испытывал. Разве когда из лагеря вышел.

– Слушай, а за что ты в лагерь попал? – спросил Карпенко, сворачивая самокрутку. Он снова уселся на топчане, тоже подобрел от тепла и еды, стал по-домашнему простым, своим, таким, как и все.

– А, длинная история. История с географией. Было дело, да.

– Может, безвинно?

– Не скажу, – сразу сделавшись серьезным, Свист задумался. – Было за что. Могли б и больше припать, отбрыкался двумя годами. Могу рассказать.

Он помолчал, глядя в закопченный потолок, прислушался к завыванию ветра снаружи, потом вздохнул и пошуровал в печке. Там что-то треснуло, выстрелило, ярче загорелись дрова, осветив накупленного Пшеничного в углу и любопытное курносое лицо Глечика.

– Видно, бестолковый я человек... вот. Шальной, безголовый... – говорил Свист. – Словом, обормот. Только теперь понял. Как говорят, не вши меня заели, а молодость загубила. Жил в Саратове, на Монастырке.

Красота городок, скажу вам, первый сорт. Саратов... Да... – Он помолчал, мечтательно вспоминая что-то и не отрывая взгляда от печки. – Четыре года, как не был, душа истосковалась. Так вот, учился малость. Учиться не любил. Да и дисциплина хромала. Мать, бывало, ходит-ходит в школу по вызовам, лупит меня, а толку – как от козла молока... А вообще-то была мало. Больше надо бы бить, тогда, может, и человек бы вышел, а так – осколок, подобие одно. Подрос, зашился в компанию – дружки-милушки, ярина зеленая... А все же хорошее было время. Раздолье, особенно летом. Мать на заводе – на подшипниковом – работала, а я – будто в раю. На кладбище в войну играем – да, там у нас Чернышевский, писатель, похоронен, – деловито сообщил Свист, повернувшись к Карпенко. – Памятник такой громадный, как шалаш. Так вот, на кладбище, на Лысой горе, в сосняке, а иной раз вырвемся и на Волгу. Вот брат, счастье, ярина зеленая! Никто в тех местах не видел Волги? Нет? О, у нас Волга! Ширь, простор, вода, солнце, небо. И на этой благодати райский уголок – Зеленый остров. Стянем чью-нибудь лодку, переправимся туда и – забав, игр на два дня. Мать ищет и в милиции, и в колонии, и в тюрьме, а мы на острове кинжалы выстругаем и разбойников изображаем...

Витька вздохнул, запихнул в печку конец какой-то доски, озабоченно пошуровал там щепкой.

– Потом пошел работать, – продолжал он. – Вначале Григорий Семенович, сосед наш, меня к токарному делу приспособливал. Работал на том же подшипниковом, втулки делал. Сперва ничего, а потом надоело, опротивело, как горькая редька. Как говорится, послал бог работу, да отнял черт охоту. Утром – втулки, вечером – втулки, вчера – втулки и завтра – втулки, зимой и летом – одни втулки. Уж эти кольца да дырки ночью сниться стали – отравы! С тоски к водке потянуло. Выпивал. Как-то в пивной познакомился с одним – Фроловым по фамилии. Не было печали, так черти накачали! Так хитро ко мне подъехал, и так и этак, смотрю – милый человек. И денег не жалеет. Пили. Ловко он мне житуху отравил, и не заметил, как окрутил дурня. Ты, говорит, свой парень, зачем тебе мозоли натирать? Хочешь, устрою, работенка – лафа. И что ж? Устроил продавцом в хлебный магазин. Работаю месяц, второй. Не скажу, чтоб очень нравилось. Правда, сыт – тогда голодно было на Волге, – а так – почти как и на подшипниковом – нудная работа, только и знай, режь килограммы. Пять тонн сегодня, пять тонн завтра. Не смотри, что хлеб, а нарежешься за день, так хуже, чем на заводе, устанешь. Хотел я уже драла дать, да однажды заявляется этот Фролов, говорит, приходи в «Поплавок», дело есть. Прихожу. Сидят в углу под пальмой – Фролов и еще один, дядей

Агеем звали. Что, думаю, за дело? Выпили, закусили – ничего не говорят, еще выпили, закусили – молчат. Еще и еще. А потом Агей и шепни: так и так, дескать, подбросим пару пудиков сверх накладной – продашь? Продам, говорю, не залежится: товар ходкий. «Ну вот и порядочек, парень свойский, и комар носа не подточит», – тешится Агей, потирая руки. А мне спьяну и невдомек, что это – первый мой шаг к черту в зубы. На душе весело, смелости хоть отбавляй, угодить хочется людям – вот и согласился. Не знал того, ярина зеленая, что сегодня – пару пудов, а завтра – десяток, а потом тоннами подбрасывать мне хлеб станут. Придет машина – начнут сгружать, этот Агей и еще один, смотрю – на весах две тонны, а накладную дают на полторы. Остальное наше. Деньги все им отдавал. А они делили. Сначала скребло у меня на душе, думаю, до добра не доведет. Ну, а потом деньги сбили с толку – повалили кучей. Не привык столько иметь, не знал, что делать с ними. Не пропьешь: поллитровка шесть рублей – и только.

– Ну это ты врешь, – вставил Пшеничный. – С деньгами еще ни у кого не было заботы.

– Не было? – язвительно передразнил Свист. – Что ты понимаешь, Мурло, душа копеечная?..

– Ладно, хватит вам. Давай дальше! – прикрикнул Карпенко.

– Ага. Ну, тут разгорелась моя фантазия, увлекся фотографией. Купил аппарат, всякие к нему штучки, начал изводить бумагу и пластинки. Снимал. И на Волге, и на Зеленом острове, и в парке. Наловчился, со временем – ничего получалось. Подумал было: а не посту пить ли в фотоартель? Сказал однажды Фролову – тот только зубами заскрипел. Попробуй, говорит. Так, живу дальше. Надоело фото, купил байдарку, и вечером, и в выходные – на Волгу. Вот это любил. Видно, душа такая: простора просит. Фролов с Агеем тоже иногда приходили, катал. Потом продал байдарку, купил моторку. Снова Зеленый остров, только уже – не разбойники, а жулики, и не игра, а на самом деле. Пьем, рыбу ловим. Туда же один раз привезли они Лельку. Девка, брат, такая, ярина зеленая, во! Закачаешься. Огневая, боевая, веселая. Захмелела моя башка в один вечер – и водки не нужно. Купались, пили, и там в кустах изловчился я, сгреб ее в охапку и поцеловал. Думал, в морду ляпнет, а она – куда там – обхватила меня обеими руками за шею, впилась в губы, и дух мне заняло, будто в прорву ринулся. Закрутила меня любовь с этой Лелькой, места себе не найду. Говорю, давай поженимся, жить будем по чести, а она смеется. Ходит ко мне на свидания, целуется, но все тайком, чтоб Фролов не знал. Что ты, говорю, маленькая, или он отец тебе, чего боишься? Нельзя, говорит, чтобы знал, и все. Не знаю, чем бы это кончилось, кабы однажды

такая история не приключилась. Договорились встретиться – уже не помню, в какой праздник. Прихожу, а она стоит у танцплощадки в парке рядом с этим самым Фроловым. Почувствовал я недоброе, но подошел, а Фролов берет меня вот так за локоть и выводит на боковую аллею. Думаю, что-то будет, а он вдруг говорит: оставь Лельку, не тронь – не твоя. Злость во мне разыгралась. А чья, говорю, может, твоя? Моя, говорит. А глаза, как у зверя, рука в кармане что-то нащупывает. Ну, я не обратил на это внимания, изловчился да как саданул ему в скулу. Началась драка, пырнул он меня финкарем в лопатку, но и я кулака отвесил. Сбежались люди, закричала Лелька, ну, нас и взяли. Привели в отделение – протокол и так далее. Смотрю, этот, собака, чужую фамилию называет, и документ у него соответствующий в кармане. Взбунтовалась во мне кровь – ах ты, гад ползучий, думаю, снова кем-то заслониться хочешь! Веди, говорю конвоиру, к главному. Позвали начальника, взял я и рассказал все: про хлеб, и про Агея, и про наши шахер-махеры. Ничего не утаил – утаил только про Лельку. Чувствовало мое сердце, что и она не так себе, тоже в этом коdle, а назвать не мог. Не назвал...

Свист неожиданно умолк и задумался, заглядевшись на огонь. Вокруг, ожидая продолжения, сидели товарищи. Карпенко, подперев голову рукой, лежал на топчане и тоже ждал. Свист помолчал, поглаживая горячие от огня колени и, видно, уже по-новому переживая старую свою беду.

– Да. Значит, посадили нас в КПЗ, начали следствие. Ко мне неплохо относились все – и милиционеры, и тюремщики, и следователи, а тут замечаю однажды: что-то переменилось, подозрительно так посматривают и все стараются на слове поймать. «В чем дело? – спрашиваю. – Я выложил все по совести». – «Все ли? – говорит один черный такой, с виду кавказец. – А почему про Злотникову молчишь?» – «Какую Злотникову?» – «Про Лельку», – отвечает и так всматривается, словно в душу хочет заглянуть. Оказывается, этот гад Фролов уже выдал ее. Ну и вот, судили. Целую шайку. Как глянул я на суде, так аж испугался. Ярина зеленая, оказывается, я только кончик им дал, а весь клубок распутали без меня. Человек двадцать разных ворюг. И Лелька. Тяжко мне было видеть ее там. За себя не так обидно, как за нее. А она в глаза мне не глядит, не говорит. Неужто, думаю, меня доносчиком считает? Молчание ее душу мне выворачивает, хочется заговорить, а нельзя. Ну, дали кому сколько. Фролову – десять, Лельке – три, мне – пять. Потом поползла жизнь тюремная, лагерная. В Сибири лес валили. Пихта, ель. Снег до пупа, сопки, мороз. Дым от костров даже теперь ночью чувствую – снится. Все, кажется, им провоняло. Вывозили в распадок. Пайки хлеба, баланда, нормы. Люд

разный. Одни – ничего, душевные, другие – сволочи. Охрана тоже. Трудно было. Потом привык. С зачетами отбыл два года. Отпустили. Куда податься? Говорят бывалые: на запад не суйся, теперь ты с блямбой на веки-вечные. Там ты – как волк в облаву. Все атукать будут – судимый! Айда на восток. Поверил, подался на восток. На Сахалин прибился, повкалывал в шахтах – не понравилось. Вспомнил Волгу – пошел матросом на сейнер. Крабов в Татарском проливе ловили, сельдей, в путину – лососей. Трудная житуха морская, а привык – ничего. Море, оно притягивает – муштрует и не отпускает, как зазноба какая. Временами, в шторм, припечет, свет белый проклянешь, а когда стихнет, успокоится – лучшего и желать не надо: простор, ветер – милая душа, ярина зеленая.

– И тут – война, – вздохнув, продолжал Свист. – Да, забыл рассказать. Был еще в моей жизни человек, уважал я его больше матери. Не многих уважал, а его – от души. Владимир Кузнецов. Летчик. Капитан. Еще, помню, я пацаном на Монастырке по садам лазал, а он приезжал в отпуск – в серой гимнастерке, в желтых ремнях. Фуражка такая с золотым крабом. Но особенно мне нравились его нагрудные значки. Помню, «Ворошиловский стрелок», ПВХО, ГСО и парашютистский. Любили мы, пацаны, за ним бегать, и он не сторонился, дружил с нами. Однажды я записку от него Инке Голощековой носил – была у нас такая деваха. Ну вот, а потом этот самый Владимир исчез – ни слуху ни духу. Отец его, Григорий Семенович, тот самый, что меня к токарному делу пристраивал, ходил молчаливый, угрюмый, мать все горевала, а где он пропал – никто толком не знал. Но вот через год или два объявился наш Владимир Григорьевич. Уже три шпалы в петлицах, вместо значков – два ордена Красного Знамени, только со здоровьем что-то у него незаладилось. Ранен, оказывается, был. Думаете где? В Испании. С франчуками воевал. Потом он сам мне это по секрету рассказывал. Уволили его со службы из-за ранения, и начал он чернеть от какого-то горя, как котелок от сажи. Стал печальным, молчаливым – и все один. А увидит самолет над городом, так, поверите, прищурится и смотрит, смотрит... Тот уже за облака скроется или на посадку пойдет, а он все стоит и всматривается. И на глазах слезы. Вот горе было у человека! Когда я спутался с этой чертовой фроловской компанией, он сразу заметил неладное, – конечно, по соседству недолго утаишь – и все говорил мне: «Брось, Витька, не тем занимаешься». Только я не послушал. Хотел – и не мог. Ну, а любил я его очень. И теперь сердце болит, что не послушался, хоть, конечно, не знал он всего, мог только догадываться... И вот получаю на Сахалине письмецо из Саратова от племянницы, пишет – того взяли, того призвали, а Кузнецова сын на второй день войны сам

пошел. Не хотели брать летчиком, потому как здоровье никудышное, так он в пехоту напросился. Ну, думаю, картина, ярина зеленая. И что за гады – эти фашисты, если уж такой человек готов с ними даже в пехоте драться? Думаю: все мои знакомые – на фронте, один Свист в тылу. То сидел в тюрьме, а теперь в теплом местечке пристроился, на рыбфлоте. Нет, думаю, я тоже человек, не скотина. Подал заявление: давайте расчет. Не пускают. Говорит начальник кадров: «Брось, Свистунов, – меня все Свистуновым звал – хорохориться. Тут ты за милую душу до конца войны досидишь, на кой тебе лезть на рожон?» – «Ах ты прохвост, – говорю, – там люди жизни не щадят, а тут – сиди. Не в тюрьме – отсидел свое. Давай деньги». Выбил я у них косую и прикатил в Москву. По старой привычке пошел к начальнику НКВД. Так и так: бывший заключенный, хочу на фронт. Помогите. И помогли. Дал полковник бумажку, и меня – на пополнение в стрелковую дивизию и на фронт. Под Полоцком окружили. Еле-еле с дружкой одним, Алешкой Гореловым, ноги унесли. Вот на вас наткнулись. Взял ваш комбат. Расспросил все – как и что, куда и откуда – и взял...

Дрова в печи прогорали, в сторожке потемнело, опять стало холодно, в окна задувал ветер. Карпенко курил, лежа на спине, все молчали.

– Да, хлебнул горя, – задумчиво проговорил старшина. – Это не сладко – тюрьма. Только было за что: виноват, как ни крути.

Свист даже встрепнулся от этих слов, видно было, они больно отозвались в его и без того изболевшейся душе.

– Было за что – это правда. Дали пять – согласился. Дали б десять – ни слова б не сказал. Все б отбыл. Заслужил – получил по справедливости. Только, знаешь, не хочу, чтоб всю жизнь попрекали. Что было, то прошло и быльем поросло. Нужно, еще отсижу, стерплю, только без бирки, без ярлыка – человек я, ярина зеленая... И хоть, может, балда безголовая, дурак самый последний, только, думаю, не хуже многих других – тихоньких, ровненьких... Вот...

Карпенко в ответ не сказал ничего. Все молчали, и слышно было, как выл-завывал за окном неумолчный осенний ветер.

Выйдя из сторожки, Овсеев прислушался. После света из печки, пусть ничтожно малого, в этой крошечной тьме ни зги не было видно, только порывисто лупил в стену дождь да завывал ветер. Бойца сразу объяла

глухая осенняя ночь, тело вздрогнуло от зябкой промозглости, он поднял воротник и нерешительно ступил во тьму.

Под ботинками чавкала грязь, его обдавал дождь, с крыши стекало на пилотку, и тяжелое предчувствие все глубже и глубже забиралось в душу бойца.

Одно из двух, думал Овсеев, или все они во главе со старшиной дураки и остолопы, или он сам нытик и трус. Но трусом Овсеев себя не считал, он был способен на такие поступки, на которые решится не всякий. Просто теперь он понимал то, чего не хотели или не могли понять ни старшина, ни Свист, ни Глечик, ни Фишер, и это не на шутку встревожило его. Конечно же, их оставили в заслоне не для того, чтобы они, спокойно просидев сутки, могли затем догнать батальон. Если уж приказали держать эту дорогу, значит, именно здесь ожидается тот главный удар, которого хочет избежать полк. Но что они, шестеро, могут сделать против фашистской оравы, когда с ней четвертый месяц не справляется вся наша армия? Первым же ударом их тут прихлопнут, как комара на лбу. И кому только понадобилась такая их жертва? Явный просчет, глупая затея – не больше. А этот твердолобый тумак Карпенко уперся, как баран в новые ворота, и, знай себе, талдычит: приказано – выполняй.

Овсеев прошелся пару раз по меже, далеко не отходя от сторожки, прислушался и, не услышав ничего подозрительного, опять стал под крышу. Если там прижаться к самой стене, можно хоть немного укрыться от дождя и пронизывающего ветра. Окоченевшие руки сами ищут тепла за пазухой и в карманах. Из сторожки слышится разговор, о чем-то треплется Свист. Какой-то он непонятный человек, этот Свист. Так вроде и ничего – сообразительный, ловкий и многое повидал, а никакого критического подхода к обстоятельствам. Удивительно даже, как он, анархист и блатняк по натуре, может так беспрекословно подчиняться воинской дисциплине? Вначале, когда он только появился в их роте, Овсеев даже хотел подружиться с ним, потому что никого более подходящего тут не было – все какие-то неотесанные, поговорить не с кем. Но постепенно Овсеев убедился, что этот Свист больше тянется к другим, любит держаться компании, и Овсеев махнул рукой – черт с ним.

В роте Овсеев жил сам по себе. Это было не очень чтоб весело – постоянно чувствовать свое одиночество, но он чувствовал себя умнее и интеллигентнее многих, поэтому одних он презирал, на других, таких, как Глечик, просто не обращал внимания. Но, странное дело, на него тоже мало обращали внимания, взыскивали наравне с прочими, а это уже было несправедливо и обидно.

Постепенно привыкнув ко тьме, Овсеев стал различать тусклую линию железной дороги, пятна столбиков на переезде, слышал, как печально шумели молодые посадки у линии. На пригорке и дороге все было тихо. Немцы, видно, не торопились или заночевали где-нибудь в такую непогоду, не то быть бы беде. Однако ночью бойцы еще сумели бы оторваться от врага, скрыться во тьме, отойти, а вот завтра вряд ли это удастся. Завтра всем им придется погибнуть. Это скорее всего. А погибать, прожив только двадцать лет, Овсеев совсем не хотел. Вся его душа, каждая клеточка тела гневно протестовали против гибели и жаждали одного – жить. К дьяволу эту войну, ее муки и кровь, если человеку нужно такое простое и естественное – жить! Столько сладостей в жизни – привычных и еще не познанных, столько радости и счастья, что погибать в самом ее начале – преступление хотя бы перед природой. Этот твердолобый Карпенко готов разбиться в доску, только б выполнить приказ. А он, Овсеев, привык всегда все взвешивать, анализировать, думать и находить лучшие для себя варианты из всей суммы возможных. Эту привычку он приобрел давно, еще в школе, когда понял, что большего иногда можно достигнуть и малыми средствами. Он много читал, учился легко, среди учителей и товарищей слыл способным ребенком. Без особого труда давались ему гуманитарные предметы. Математику он тоже знал, но она требовала усидчивости, настойчивости, въедливости до мелочей, а это было не по душе избалованной натуре Алика. Бесконечные домашние задания по алгебре, тригонометрии, физике бесили его уже тем, что отнимали все свободное время, необходимое ему для спорта, забав и игр. И он договорился с одноклассником Шугайло, недалеким учеником-переростком, который неплохо справлялся с математикой и второгодничал в восьмом классе из-за абсолютной неспособности к языкам. Шугайло стал готовить за Алика все домашние задания по математике, писал за него контрольные, одним словом, облегчал все его математические обязанности. Алик помогал ему во время диктантов и сочинений, но делал это не без некоторой хитрости, и если по математике отметки у них были одинаковые, то по языковым работам оценка у Шугайло редко когда поднималась до "4". Алик же был круглым отличником.

Отец его, военврач третьего ранга Овсеев, в дела сына-подростка почти не вникал: у него было полно своих хлопот. Зато мать, уже немолодая и очень добрая женщина, обхаживала своего единственного за пятерых отцов и пятерых матерей. С детства она находила в Алике множество различных и необычайных способностей. Стоило малышу, балуясь, тронуть клавиши пианино, как мать тут же восторгалась и бежала к отцу,



соседям, знакомым, говорила: «Это же чудо-ребенок, он уже взял аккорд! Он будет композитором». Если Алик, посплюнув карандаш, выводил на бумаге какие-нибудь каракули, мать подхватывала листок и бежала показывать другим. Если же, случалось, обижал малышей во дворе и на него жаловались соседки, она, закрыв двери, одобряла: «Молодчина, сынок. Не разрешай брать верх над собой».

Когда Алик подрос, он пошел в музыкальную школу, неплохо проучился там два года, но потом бросил. Мать очень переживала. Удивлялись преподаватели, почему он, такой способный к музыке, вдруг потерял к ней охоту. Овсеев никому ничего не объяснял, но сам знал определенно, что поступил правильно. «Лучше быть первым в Галии, чем вторым в Риме», – вычитал некогда Алик и понял, что в музыкальной школе ему никогда не быть первым. Первой там была Нина Машкова, а на второе место для себя Алик не мог согласиться.

Через месяц Овсеев записался в студию изобразительных искусств, купил альбом, медовые акварельные краски и всю зиму писал натюрморты. Алику казалось, что его рисунки не хуже работ других студийцев, но преподаватель Леонид Евгеньевич, старичок в поношенной толстовке, иногда остановившись у его мольберта, теребил узенькую бородку и непонятно почему спрашивал:

– Вам, Овсеев, спорт нравится?

– Нравится, – быстро поворачиваясь к нему, говорил Алик, и учитель согласно кивал головой.

– Правильно, футбол, например, чудесное занятие для юноши.

Сперва Овсеев не понимал, а потом догадался о смысле тех туманных намеков и перестал посещать студию. Как раз начиналась весна, пригревало солнце, на детском стадионе до поздней ночи бухали мячи – и Алик Овсеев отдался спорту.

После нескольких тренировок его зачислили в юношескую футбольную команду, которая затем в городских соревнованиях заняла первое место. Снимок команды-победительницы поместили в местной газете. Алик в решающем матче забил два гола и почувствовал себя так, словно стал намного старше своих шестнадцати лет. Его перестали интересоваться одноклассники и даже учителя, несмотря на возросшее их уважение к юноше-спортсмену. Он замечал, какими влюбленными глазами посматривали на него девочки и как товарищи томились от зависти к его спортивным успехам. Все это приятно щекотало его самолюбие, и Алик начинал уже думать, что нашел свою дорогу в жизни, как вдруг в разгар лета на их команду посыпался ряд неудач. Три раза подряд на

ответственных соревнованиях они позорно проиграли. Однажды Алика вывели из игры за грубость и в конце концов заменили другим.

Долго после этого Овсеев в одиночестве переживал свои жизненные невзгоды, но мать утешала сына, доказывая, что он очень способный, всесторонне одаренный, но немножко ленится, а если постарается, станет просто гениальным. Этот усвоенный с детства довод постепенно успокоил Алика, наполнил его сердце презрением к другим и давал основание смотреть на себя, как на исключение. Но другие почему-то упрямо не хотели замечать исключительности Овсеева и совсем не так, как того требовала его натура, относились к молодому человеку. Особенно ярко это проявилось, когда Алик приехал в Ленинград и поступил в артиллерийское училище.

Еще занимаясь в десятом классе, Алик понял, что искусство, музыка, живопись, а также спорт – не его стихия, потому что там нужны фанатичная самоотверженность, упорство и каторжный труд. А все, что достигается огромными усилиями, через трудности, думал Овсеев, то не приносит удовлетворения: радость достигнутого омрачается трудностью достижения. Военное дело влекло его воображаемой романтикой жизни и красотой формы. Он любил смотреть на строй красноармейцев во время парадов, ему нравился бравый вид молодых командиров в портупях, с планшетками и пистолетами на боку, он восхищался мощью боевых машин и вычитанными из книг геройскими подвигами во время войны. Отец не возражал против нового увлечения Алика, мать же, во всем угождая сыну, отступила от своих прежних намерений относительно его карьеры на поприще искусства, и за год до войны Овсеев стал курсантом училища.

Но случилось так, что с первых дней своей военной жизни курсант Овсеев почувствовал разочарование. Командиром отделения, в которое зачислили Овсеева, назначили мешковатого тугодума Тодорова. Этот недалекий, по мнению Алика, человек совсем не хотел видеть, что Овсеев умнее его и многих курсантов, более развитой и ловкий, куда лучше воспитанный. Кстати, этого не хотели замечать ни старшина, ни командир взвода. Его школили так, как и всех. И когда он попытался выделиться, показать свои знания и способности, доказать, что он стоит большего, тогда его невзлюбили товарищи.

Правда, те невзгоды быстро прошли. Летом, когда началась война, Овсеева в числе большой группы курсантов отчислили из училища и с маршевой ротой направили на фронт. Овсеев вначале даже обрадовался, по пыльным дорогам добираясь до передовой, был полон решимости совершить какой-нибудь героический поступок: хотелось показать, на что

он способен. Но в первом же бою его оглушило грохотом взрывов, ослепило страхом близкой смерти, обожгло болью неудач. «Нет, – сказал он себе. – Это не для меня». Дальше он только и думал о том, как бы уцелеть.

До сих пор ему в общем везло, но вот, кажется, пришел конец его удачам. Овсеев очень беспокоился за завтрашний день, чувствовал – быть беде, и все думал: что предпринять, чтобы отвести от себя гибель?

Стоя под краешком крыши и отчаянно ища выхода из тупика, Овсеев не заметил, когда прекратился дождь. Наступила тишина. Перестали стучать капли по крыше, кажется, постепенно унимался и ветер. Неизвестно, который был час. Овсеев чувствовал крайнюю усталость во всем теле и, сердито подумав о тех, что остались в сторожке и не сменяют его, рванул на себя дверь.

## 9

Из сторожки пахло теплом, дымом, кислыми испарениями от мокрых солдатских шинелей. Не переступая порога и держа дверь настежь раскрытой, Овсеев спросил:

– Ну что? Вы меня смените сегодня?

– Что-то ты больно скоро, – отозвался с топчана Карпенко. – Еще, верно, и двух часов не прошло.

Он неторопливо вытащил из карманчика старые «кировские» часы на цепочке и повернулся к скупому свету из печи.

– Да, пять часов! Скоро рассвет. Ну, кто? Глечик, давай ты.

Глечик с готовностью вскочил с пола, но его опередил Пшеничный.

– Постой. Я пойду. Глечик пусть отдохнет. Он копал много, так что...

Не ожидая согласия командира, боец запахнул шинель и полез в дверь. Овсеев поставил в угол винтовку и стал устраиваться у печи.

– Дождь вроде стихает? – спросил Карпенко.

– Стих, – ответил Овсеев, протянув к огню озябшие красные руки.

Рядом, разомлев от жары и поджав ноги, сидел Свист. Он все, видно, не мог одолеть своего задумчиво-меланхолического настроения и с тихой грустью в светлых глазах, уставленных на горящие уголья, говорил:

– Повидал я людей и там, и тут, смерти насмотрелся и думаю: эх, человек, не знаешь ты, что тебе надобно. Выкомариваешь, как малое дитя, пока тебя красный петух в зад не клюнет. А клюнет, тогда враз ум появится. Тогда докумекаешь, как жить надо. Это я о самом себе думаю. Допер вот, ярина зеленая.

– Оно так, – отозвался Карпенко, вытягиваясь на топчане. – Только пропади она пропадом, война эта. Мне она всю жизнь поломала. Только на ноги поднялся, свою дорогу нащупал, как тут – трах-бах – понесло...

– Это правда, – согласился Свист. – И когда уж мы его осилим, гада? Прет и прет, паразит окаянный!

– Ничего, осилим. К Москве не допустим. Это уж точно.

Овсеев, грея мокрые руки, неприветливо блеснул на старшину черными холодными глазами.

– Ну да. Можно подумать, Москва за Уралом.

– За Уралом не за Уралом, а Москву не отдадим.

– Это мы уже слышали, – хмыкнул Овсеев. – А три месяца драпаем...

– Ерунда, – живо отозвался Свист. – Кутузов тоже отступал. Тут план, может, такой – как с французами. А что? Заманить поглубже в леса, болота, окружить и кокнуть к чертовой матери. Чтоб ни одного не осталось.

Карпенко курил, пуская в потолок широкие струи дыма, и о чем-то сосредоточенно думал. Овсеев, отогревшись, стал доедать кашу. Витька сгребал у печки последнее топливо, а Глечик, полный внимания на круглом мальчишеском лице, оперся на руку и слушал. Дрова в печке уже догорели, сверкала, переливалась жаром куча углей, тьма все плотнее окутывала силуэты людей. Тускло светились лишь их лица и руки.

– Ах, гады, гады! Что сделали с Россией, – говорил Свист, подбирая во тьме остатки топлива. – Ну подожди, доберемся – никому пощады не будет.

– Зачем так, – подумав, заметил Карпенко. – Всех на одну мерку нельзя мерить. Есть и среди немцев люди. Подпольщики. Они свое дело делают.

– Что, может, пролетарскую революцию готовят? – невесело улыбнувшись, съехидничал Овсеев. – Я слышал, один политрук про революцию в Германии агитацию разводил. Говорит, скоро немецкий пролетариат поднимется против Гитлера.

– А что? Возьмет и поднимется. Что ты думаешь? Мы не знаем, а там дело идет. Не может того быть, чтоб все немецкие рабочие за Гитлера стояли.

– Да, жди, – буркнул Овсеев.

– Ты, умник! – разозлился Карпенко. – Что-то, смотрю, все ты знаешь, все понимаешь.

– И понимаю, а что ж!

– Понимаешь! Вот завтра посмотрю на тебя, умника.

Овсеев смолчал. Стало тихо. Глечик насупился. Свист рассудительно говорил:

– Это ничего, пускай. Пускай! Понятно, беда, да кто беды не бедовал.

Хлебнуть доведется, но беда жить научит. Эх, ярина зеленая. – Он вдруг переменил тон на свой обычный шутливо-разухабистый. – Слушайте анекдот на закуску, да нужно кимарнуть часок.

Карпенко улыбнулся во тьме, поворачиваясь на бок. Глечик придвинулся ближе к печке. Овсеев пренебрежительно скривил губы.

– Так вот, про женское любопытство. Кто против, кто за? Идет. Ну, вот, ярина зеленая, слушайте.

Он весь преобразился: смешливые искорки, играя, заблестели в его глазах, мелкими морщинками покрылся лоб, хитровато-озорным стало выражение его лица. Это уже был другой, не рассудительный, вдумчивый боец, а обыкновенный, понятный всем Витька Свист – свойский парень, весельчак и пройдоха.

– Значит, так. Был у одного человека знакомый. Встречаются однажды: «Как жизнь?» – «Ничего». – «Смотрю, что-то тощий ты больно, еле-еле душа в теле. Что такое?» – «Да жена заела». – «Эх, а жена что, тоже исхудала?» – «Где там: печь-баба». – «Ну, так я помогу, отучу грызться». И вот является как-то этот знакомый в выходной. Стук-стук. «Здравствуйте». – «Заходите, милости просим». – «Да я по делу, к хозяину». – «Ну что ж». Хозяин притих, понятно, ведет гостя в комнату, дверь на крючок. Жена нервничает: в чем дело? Ну и к двери, понятно, глаз в дырочку – что такое? А знакомый бух перед хозяином на колени. Слышит баба, умоляет простить. «Не могу, – говорит хозяин, – сам знаешь, не могу». – «Христом прошу: прости, молодой был, бес попутал». – «Не проси, не в моих это силах». И так с полчаса. Наконец вышли оба совершенно убитые. Знакомый за шапку да к двери, не попрощавшись. Жена к мужу: «Что такое?» – «Не могу, говорит, дорогая, не моя тайна». Она и так и этак, а он: «Не могу и все, не проси». Жена не спит по ночам, перестала есть, все думает, гадает, допытывается, просит раскрыть ей тайну. А муж ни в какую. Во второй выходной снова та же история. Приходит знакомый, запираются, и снова один просит, а второй упорствует. Жена места себе не находит, обед не варит, сохнуть начала. А муж молчит – и все. Так трижды приходил этот человек и все умолял простить его, а на четвертой неделе высохшую, как щепка, жену отвезли в больницу.

– Здорово, – сказал Карпенко. – Не очень смешно, но правильно. Ну, а теперь на пару минут – молчок.

Заскрипев топчаном, он повернулся на другой бок и сразу затих. Сидя прислонился к теплой печке промокший Овсеев, на полу с головой укрылся шинелью Свист. Глечик подвинулся ближе к печке и, обхватив колени руками, стал печально смотреть на дотлевавший огонь.

Совсем догорели дрова, но еще ярко краснели угли, по ним кое-где пробегали синевато-прозрачные огоньки, но их становилось все меньше. Потом уголья стали покрываться сизой пеленой пепла, и это пелена, будто живая, шевелилась, дышала, расползалась по топке. В груди Глечика отчего-то все больнее сжималось сердце, полное тоскливых воспоминаний о его трудной, не задавшейся жизни.

За это страшное время бесконечных людских страданий Глечик уже порядком огрубел душой и перестал замечать мелкие невзгоды жизни. Не очень допекали его марши и окопы, стужа, голод. Привык он и к требовательности командиров. И только одна всепоглощающая боль, ни на минуту не утихая, день и ночь жила в его сознании.

От рождения он был робким и молчаливым мальчишкой. Даже в детстве никто не слышал от него ни одного слова жалобы, никому не открывал он своей души, не делился переживаниями и, слушая других, думал, что его горе – не горе. Правда, от этого было не легче, и сердце его то и дело тоскливо сжималось от боли.

Эх, если бы можно было остановить время, перекроить жизнь заново, «сабраць з дарог каменні тья, што губяць сілы маладыя». Не поступил бы, может, и он, Глечик, так опрометчиво, так глупо, не обидел бы самого близкого человека – мать. Но прошедшего не вернешь, и оттого так болит теперь его сердце.

Безмятежным и тихим было детство Василя Глечика. Кирпичный завод на окраине поселка, огромные старые карьеры, залитые широкими лужами желтоватой воды, длинные сушильные навесы и множество кирпича – сырого, подсыхшего и обожженного. На сыром можно было запросто написать свое имя, нарисовать звездочку. Обожженный кирпич, жесткий и красный, звенел, как медь. В карьерах поселковые сорванцы ловили весной головастика, баловались, купались, пропадали у воды спозаранку дотемна, пока на обрыве не появлялся Васин отец и не разгонял их по домам.

Отец Василя Глечика, конечно, имел самое непосредственное отношение к заводу, работал обжигальщиком и считался полновластным хозяином длинной, как пещера, гофманской печи, которая всегда полыхала жаром. Добряк по натуре, он никогда не обижал Васю, в получку обычно приходил слегка навеселе и приносил сыну игрушки и конфеты. Мать тогда хмурилась, и маленький Василек никак не мог понять, почему она сердится

– ведь отец в такие часы был еще ласковее и добрее, чем обычно. Ну, а когда мать обижалась, Василек не мог чувствовать себя счастливым, он тоже переживал и тоже дулся на отца, потому что очень любил мать. Всегда веселая, жизнерадостная, с приветливой улыбкой на спокойном красивом лице, она была ровной со всеми, и, бывало, каждый при встрече с ней сразу радостно и светло улыбался. Они очень счастливо жили тогда. Василек учился в школе. Характером он пошел в мать, был старательным, честным, уважительным к старшим и до пятнадцати лет не знал, что такое настоящее горе.

Но горе нагрянуло – неожиданно, обидно-нелепое и страшное. Однажды в дождливый, как сегодня, осенний вечер они все: отец, мать, Василек и трехлетняя Насточка – сидели за столом и слушали музыку. Отец неловкими, огрубевшими от работы пальцами вставлял в мембрану неделю назад купленного патефона иголку и осторожно опускал ее на пластинку. Мать, облокотившись на подоконник, казалось, вся ушла в музыку, – она была очень красива тогда, какая-то мечтательно-грустная и тихая-тихая. И вдруг снаружи донесся дикий, нечеловеческий крик.

Все вздрогнули, отец бросился к окну, затем к двери и как был – в одной рубашке, без шапки, в тапочках – выскочил на улицу. Василек тоже выбежал следом и сразу за углом, у забора, при свете фонаря увидел незабываемо-ужасное. С мокрого от дождя невысокого столба электросети сползал вниз человек. Это был их сосед Трошкин. А на земле, распластавшись в грязи, неподвижно лежал отец. Василек бросился к нему, закричал. Выскочила мать, сбегались люди. Но уже ничего нельзя было сделать – отца убило током.

В тот вечер кончилось, как оборвалось, Васильково счастливое детство. Отца похоронили. Мать почернела от горя и слез. Василек тоже плакал, но тайком от всех: неожиданно он почувствовал себя самым сильным в осиротевшей семье и держался как мог. Жить стало трудно, томительно-скучно и одиноко. Он тогда окончил семилетку, но мать хотела, чтобы сын учился дальше, и сама пошла на завод формовать черепицу. Зарабатывала она немного, денег на все не хватало, они берегли каждую копейку и кое-как сводили концы с концами. Василек старался помогать матери – собирал металлолом, ремонтировал вагонетки, грузил на машины кирпич. Мать постепенно оправлялась от горя, успокаивалась и иногда, положив спать Насточку, садилась у окна, говорила: «Ничего, как-нибудь проживем. Все ж нас двое, работников». Полная нежности, она гладила его по коротко стриженным вихрам, а Васильку было очень не по себе от этой ее ласки, и он стыдливо уклонялся. Но в такие минуты мальчик готов был

на любые невзгоды, лишь бы облегчить жизнь матери. После смерти отца он стал любить ее вдвое больше.

Мать неожиданно повеселела.

Как-то в погожий выходной день она обула свои белые, купленные еще отцом туфли, взяла маленькую сумочку и пошла, наказав Васильку присматривать за Насточкой и никуда не отлучаться из дому. Вернулась она под вечер, веселая, быстрая, по-прежнему красивая и ласковая. Она долго и радостно играла с Насточкой, гладила по голове Василька, но в душе сына вдруг возникла к ней непонятная, ничем не объяснимая враждебность. Правда, он тогда ничего не сказал ей, а, тихонько выйдя из дому, направился к карьру и до сумерек просидел на обрыве.

Через несколько дней обида улеглась; мать, веселая и добрая, как всегда, много работала, вечером приходила усталая и успокоенная. Но однажды в какой-то праздник она поднялась очень рано, сбегала в магазин, тщательно убрала в комнате, приготовила посуду и сказала Васильку, что он, если хочет, может погулять, потому что к ним придет гость. Василек сразу насторожился, насупился, гулять не пошел, а залез на крышу сарая и стал высматривать гостя. Им оказался Кузьмиченков – бухгалтер завода, уже немолодой человек, который всегда ездил на велосипеде с пристегнутым к раме портфелем. Василек убежал на карьер и до полуночи не возвращался домой.

А мать в тот вечер долго не ложилась спать: все ждала сына. Она, конечно, сразу почувствовала его отчужденность и вздохнула, когда он, придя, молча завалился на кровать, потом всплакнула и сказала, что он еще мал и не понимает всего, что нужно было бы понять. Какая-то жалость к матери на мгновение шевельнулась в его душе, но понять мать окончательно он, действительно, не мог, а главное – не хотел.

Что-то в нем ожесточилось, он утратил свою прежнюю искренность, избегал оставаться с ней наедине. И когда год назад мать привела в дом Кузьмиченкова и сказала, что он теперь будет его отцом, Василек понял: тут ему оставаться нельзя.

Два дня спустя он взял новую рубаху, зимнюю отцовскую шапку, три червонца полученных накануне денег и отправился на станцию. Там сел в пригородный поезд и поехал в Витебск. В его кармане лежала потрепанная газета с объявлением о приеме учащихся в школу ФЗО. Так Василь Глечик перешел на свой хлеб.

Дома он не сказал никому, куда поехал, за что и на кого обиделся. Мать, видно, немало пережила, пока отыскала его в Витебске, приехала, просила вернуться, а главное – не обижаться, но он молчал, ни слова не



сказал ей при встрече, не отвечал на письма. В начале войны он узнал, что Кузьмиченков пошел в армию, а мать с Насточкой остались одни.

И парень тогда заколебался. Он знал, что перед той бедой, которая неудержимо катилась с запада, ему надо быть ближе к матери, но прежняя обида нет-нет да и давала о себе знать.

Пока он взвешивал и раздумывал, немцы подошли к Витебску, и нужно было спасаться самому. Василек прицепился на станции к заднему вагону последнего поезда и, где пешком по шпалам, а где в эшелонах, добрался до Смоленска. Видно, в огромном людском горе растворилась и его обида. Осталось только болезненное сознание своей так поздно понятой несправедливости к матери...

Глухая тьма наконец целиком завладела сторожкой; потухли последние искорки в печке. Стало совсем холодно. Дружно посапывали красноармейцы, похрапывал старшина, а Глечик широко открытыми глазами смотрел во тьму. Завтра может настичь его беда, он может погибнуть. Это будет его первый бой с ненавистным врагом. Но не страх смерти, не жалость к себе терзали парня в эти последние минуты покоя.

– Мама, дорогая моя мамуля, – беззвучно шептал во тьме Глечик, – прости ты мое непослушание, мои глупые выходки. Почему я был тогда таким дурнем, зачем оставил тебя – родную, единственную мою? Как ты теперь там, во вражьем плену, одна? Что сделают с тобой эти немцы и кто заступится за тебя?..

Тем временем старшине Карпенко снился несуразный, тягостный сон.

Чудилось ему, будто вот в этой сторожке у печки, на том месте, где разлегся Витька Свист, сидит его, Григория Карпенко, отец. Строгий, озабоченный, сгорбленный от нелегкой житухи старик закручивает взлохмаченный седой ус и говорит хриплым голосом: «Вот что, сыны. Как себе хотите, а надел больше делить не будем. Пока я жив – не дам. Доделились – с сохой повернуться негде. Ляксея пусть живет, остальные геть в свет – своего хлеба искать».

И тут видит Карпенко: из тьмы выступают его братья – старший Алексей, хромой Ципрон, сварливый Никита, а с другой стороны стоит он, младший Гришка. Как и тогда, лет пятнадцать назад, злой, горластый Никита в ответ на отцовские слова сорвал с головы замусоленную от пота шапку и, ударив ею об землю, крикнул: «Ага! Любимчику, старшенькому,

черт его дери! А мы что? Куда мне четверых босяков девать? Куда? Говори, ты – отец!» – бил себя кулаком в расхристанную грудь Никита.

Братья загудели, задвигались, недовольные отцовским решением, вытянули жилистые руки и стали наступать на него, готовые растерзать сгорбленную фигуру у печки. Но отец сидел спокойный, строгий, лишенный всякой нервозности, словно чувствовал в себе какую-то магическую силу, способную защитить его. И он, Гришка, испугался и, бросившись к старику, заслонил его.

Тогда братья все сразу замахали длинными своими руками, растопырили над ним костлявые, с отросшими ногтями пальцы, жадно потянулись к его шее.

– Ага, – шипел из тьмы голос Никиты. – Хорошо тебе: ты в армию пойдешь, до командира дослужишься, жалование получишь, а мы что? Что мы-ы-ы?

И вот костлявые пальцы брата ухватили Гришку за горло, сжали, он стал задыхаться, но отбивался как мог. А отец все сидел у печки и, наблюдая за дракой, противно хихикал: "Ага, ага! Вот так его, так-так, так..."

Григорий изо всех сил рванулся, выскользнул из сжавших его мертвой хваткой объятий и бросился прочь.

Потом что-то переменялось во сне, и он уже увидел себя за станковым пулеметом под огромным заснеженным валуном, на берегу того безымянного озера в Финляндии, где совершил свой первый воинский подвиг. За вторым таким же камнем притаился с «ручником» взводный – лейтенант Хиль. Больше из их роты не осталось никого, и они третьи сутки из двух пулеметов отбивались от финнов. Только теперь, во сне, на них почему-то наступали не лыжники особого батальона «Суоми», а немецкие эсэсовцы. Они ровной густой цепью бежали по заснеженному льду озера. Карпенко стрелял и стрелял, но его пули где-то пропадали, не причиняя никакого вреда врагу. Он спохватился, что не поставил на планке прицел, и тогда оказалось, что нет и самой планки, что ее срезало осколком, а пули из перегретого ствола падали на снег прямо перед самой его позицией. Ужаснувшись от мысли, что может попасть в плен, Карпенко схватил последнюю свою лимонку и замахнулся. Но в этот момент сзади послышался хорошо знакомый ему простуженный голос командира батальона, который вчера оставил их здесь, на этом переезде: "Так их, так их, Карпенко!..."

Странно, что, совсем не удивившись этому, старшина обернулся на голос и почему-то увидел Овсеева, который спокойно выскребал из котелка

остатки сваренной Свистом каши и говорил ему: «Чудак! Зачем так артачишься? Не видишь разве – это же наши».

Обрадовавшись, Карпенко всмотрелся в цепь на льду и понял, что это действительно шли наши красноармейцы в буденовках, а Овсеев, облизывая ложку, выпалил: «Ну вот, медальку теперь и отнимут. Почему в наших стрелял?»

Сокрушенный своей ужасной оплошностью, старшина с опаской коснулся рукой груди, где рядом со значком «Отличник РККА» висела медаль «За боевые заслуги», и вдруг почувствовал там еще чью-то руку, ласково гладившую его. Оказывается, рядом стояла Катя – Катерина Семеновна, его молодая жена, которая неизвестно как очутилась тут. Она гладила его грудь, отчаянно цеплялась за шею и плакала, плакала, как в тот день, когда провожала его в военкомат – на вторую, куда более страшную, войну.

"Так смотри ж, – говорил Карпенко, неловко обнимая худые Катины плечи. – Родится, береги его..."

"Ой, родненький, никогда он для тебя уже не родится, – запрокинув голову, сквозь слезы причитала жена. – Погибнешь ты, пропадешь, любимый, хороший мой!..."

Это было невыносимо. Охваченный страхом, Карпенко напрягся, чтобы освободиться от кошмара, и проснулся.

В сторожке царила слепая тьма. Мерно посапывал на полу Свист, где-то ровно и сдержанно дышал в темноте Овсеев. Карпенко спустил с топчана ноги. Тело его застыло от холода, который давно уже властвовал в этой хибарке, и старшина зябко закутался в шинель. Он ощупал карманы, вынул кисет, свернул сигарку. Зажигалка почему-то не загоралась, только высекала маленькие синеватые искорки, которые тут же и гасли. Карпенко сунул ее обратно в карман и, стараясь не наступить на кого-нибудь, пробрался к печке. Под пеплом кое-где тлели угли. Старшина достал один и, взял его пальцами, прикурил. Бумажный кончик сигарки вспыхнул ярким пугливым пламенем, осветив на мгновение сонное, нахмуренное лицо старшины, и отразился в настороженных глазах лежавшего у печки Глечика. Старшина бросил обратно уголь, затянулся и снова шагнул к топчану.

– Ты что не спишь? – спросил он из темноты Глечика.

– Так, не спится.

– А ну ложись! А то завтра как вареный будешь, – сказал старшина, а сам, освобождаясь от власти приснившегося, отмахнулся: "Ерунда! Наплелось всякого..."

Он снова прилег на топчане, курил, но мысли его опять возвращались к этому нелепому сну.

Да, нелегко сложилась жизнь крестьянского сына Карпенко. Отслужив срочную помощником командира взвода, он остался в армии и лет десять еще тянул лямку старшины роты. Беспокойная это служба, кто знает – не позавидует старшинскому хлебу. Но Карпенко привык, втянулся в бесконечные казарменные хлопоты. Да и вынужден был привыкнуть, потому что возвращаться домой, на Орловщину, не выпадало: в отцовской хате жил со своей многодетной семьей Алексей, все остальные братья разбрелись по свету. Но внезапно началась финская война, на которой Карпенко довелось хлебнуть горя. Тяжелое ранение надолго вывело его из строя, потом он получил боевую медаль и наконец осуществил свою давнюю мечту – уволился в запас. Как участника войны и награжденного его назначили заместителем директора льнозавода, дали хорошую квартиру во второй половине поповского дома, где была заводская контора, и Карпенко вскоре женился на Кате, молоденькой учительнице местной начальной школы.

Заводские дела его увлекли. По старой армейской привычке, он не жалел своих сил и вместе с директором, одноруким красным партизаном Шорцем, они сделали этот завод одним из лучших в районе. Сдержанно, по-своему, без особой ласки, но верно и преданно он любил свою Катю и с необычной, никогда прежде не испытанной нежностью ждал появления малыша.

И тут снова война.

Тяжело и неудачно началась она, каждый день погибали люди. Но Карпенко на фронте в общем везло. Их дивизию летом разгромили под Лепелем, однако остатки полка, в котором служил старшина, как-то выбрались из окружения, вынесли знамя и оружие. Правда, погибли в боях три командира его роты, сменилось несколько комбатов, уже совсем мало осталось тех, кто выдержал первый бой, а Карпенко по-прежнему был невредим. Мало-помалу он свыкся с мыслью о своей неуязвимости, больше заботился о других и почти не тревожился о себе самом. Случалось, он ненадолго оставался командиром роты, дольше – командиром взвода. Немцы наседали крепко, но обычно выходило так, что и Карпенко, наловчившись, давал им хорошей сдачи. В бою он никогда не терялся, внимательно следил за другими, не давал спуска трусам. Бойцы немного обижались на него за излишнюю строгость, немного роптали, но в боях по-настоящему оценили крикливого старшину...

Карпенко докурил сигарку, полежал еще. Сон, однако, больше не шел.

В сторожке по-прежнему было темно, но чуткий ко времени старшина догадывался, что скоро уже утро. Он снова поднялся, плотней запахнул шинель и, переступив через Свиста, открыл дверь.

Медленно светало. Тьма постепенно редела, отползала от переезда, уже проглянула из мрака железнодорожная насыпь и дорога с блестящей лужей посредине. Темной расплывчатой полосой вдоль дороги тянулись посадки. Ветер стих, потеплело, из лощины через пути ползли серые космы тумана.

Старшина осмотрелся, ища часового Пшеничного, но того нигде не было. Он обошел сторожку, заглянул в траншею, позвал. Затем, будто вспомнив что-то, озадаченный, остановился. Скверная догадка озарила его, старшина раскрыл рот, чтобы выругаться, но выругаться не успел.

На дороге за березами чуткую предрассветную тишину прорезала гулкая пулеметная очередь...

## 12

За несколько часов до того, оставшись один в пустом поле, Фишер встревоженно слушал дальнюю стрельбу за лесом, смотрел на мигающие сполохи ракет и думал, что их дела здесь, по-видимому, совсем плохи. Если немцы уже зашли с тыла, удержать дорогу будет едва ли возможно. Теперь, может быть, в тыл зашла и небольшая группа фашистов, но их основные силы наверняка не минуют этого единственно пригодного здесь для проезда пути. Когда они хлынут, какие это будут силы, удастся ли им, шестерым, удержать переезд на сутки – Фишер не знал, но именно это сильно беспокоило его.

Когда стрельба за лесом утихла, Фишер все же стряхнул с себя тревожную оцепенелость и взял лопатку. Уже совсем стемнело: небо, поле, дорогу с березами заволокло туманной мглой, еще немного видна была стерня у ног и в ней – неровная полоска обозначенного старшиной контура его окопа. Фишер взялся копать азартно, но беспорядочно, неумело разгребая в сторону мягкую от влаги почву. Вскоре образовалась ямка, похожая на воронку. Дальше земля стала тверже и не хотела поддаваться лопатке. Боец устал, он расстегнул ремень, снял противогазную сумку, немного постоял, отдохнул и дальше стал работать спокойнее.

От однообразного труда и монотонной ветреной тиши к Фишеру постепенно вернулась его привычная потребность размышлять, думать, добираться до скрытого смысла разнообразных явлений его военной

судьбы.

Сложное и противоречивое чувство вызывал в нем Карпенко. Угнетали неизменная требовательность старшины, злые окрики, черствость его солдатской натуры. Часто, когда старшина бесцеременно, грубо за какие-нибудь мелочи кричал на бойцов, Фишеру хотелось возмутиться, дать ему отпор, потребовать доброжелательного, ровного отношения к людям. Хотелось, но ни Фишер, ни кто другой из тех, кто тоже про себя возмущался его наскоками, не решались сделать этого. Самоуверенность старшины обезоруживала, подавляла, и Фишер временами ловил себя на той примитивной мысли, что он просто побаивается взводного. Карпенко же, по всему было видно, не выносил «интеллигентов-умников» и, как натура элементарно простая, не умел скрыть своего к ним отношения. Фишер временами презирал старшину, временами ненавидел, но стоило тому хоть на минуту просто, по-человечески подойти к нему, стать Карпенко-товарищем, как Фишер уже забывал о своей неприязни и готов был простить ему все прежние обиды.

Вот и теперь, после короткой стычки на переезде, во время которой взорвалось в Фишере все накопившееся у него возмущение, стоило старшине заговорить с бойцом просто и уважительно, как тот сразу обмяк. И хоть ему было очень не по себе тут, в этом холодном, продутом всеми ветрами поле (и одиноко, и боязно, и горели ладони от свежих мозолей, и где-то точила маленькая обида – почему на такое дело назначили его, а не другого), он молчаливо терпел. Знал: это нужно полку, батальону, им, шестерым, на переезде, и в каком-то уголке его души тлело затаенное желание угодить командиру.

А угодить было трудно. Чем глубже он зарывался в землю, тем неудобнее становилось копать в тесноте узкой ячейки – ни согнуться как следует, ни выбросить полную лопатку – она тыкалась о стены и рассыпала землю. Фишер все чаще вынужден был выпрямляться и, тяжело дыша, вслушиваться в ночь.

Но от неподвижности скоро становилось холодно, порывы ветра делались все неистовее, наполняя ночь непрерывным шелестом берез у дороги, шорохом стерни и еще какими-то неясными звуками. Стал накрапывать дождь.

Уже можно было с грехом пополам укрыться в окопчике-ямке, вырытом Фишером. Но старшина приказал окопаться как следует, и боец, отдохнув, все сгибался и сгибался в черной тесноте убежища.

Удивительно это получается, думал Фишер, что он, молодой, способный, как многие утверждали, ученый, знаток извечных человеческих

истин, хотя и втайне, но, по существу, старался угодить какому-то малограмотному солдафону. Неужели все дело в грубой физической силе или в тех дисциплинарных правах, какие дает командиру устав, или – чего проще – в нагловатой самоуверенности этого человека? Поразмыслив, Фишер решил, что это не так. Он подсознательно чувствовал, что Карпенко имеет какие-то свои настоящие преимущества перед ним, свою потенциальную командирскую силу, на которую опирается и он, боец Фишер. Но в чем была та его сила, он досконально понять не мог. Не мог же он допустить, что старшина умнее его или лучше разбирается в военных обстоятельствах, от которых ежечасно зависела их судьба. Фишер хоть и не был кадровым военным, но за время фронтовой жизни научился понимать обстановку, как он думал, не хуже Карпенко.

Дождь все настойчивее стучал по его мокрой спине, пилотке. По лицу стекали студёные капли. Промокла повязка на шее. Фишер выпрямился, вытер горячей ладонью грязные колючие щеки и жалобно посмотрел в небо, словно там можно было что-либо увидеть. Затем он измерил глубину – бруствер, уже покрывающийся грязью, еще не достигал и груди. В грязи вывалились мокрые полы шинели, руки, пудовые комья прилипли к ботинкам. Нигде в эту ночь не было спасения от противной холодной слякоти, которая наполняла пространство.

Фишер минуту постоял, отдышался и решил, что копать уже хватит. Не вылезая из окопчика, он кое-как разровнял на бруствере землю, взял лежавшую в стороне винтовку, поднял воротник шинели и скорчился на дне укрытия.

Непреодолимая, сковывающая усталость охватила его. Сама собой склонилась голова – очень захотелось спать. Но спать ему было нельзя. Усталое, разомлевшее тело очень скоро охватил озноб. Холод с каждой минутой все дальше запускать свою ледяную руку, заставлял бойца сжиматься в комок и мелко дрожать. Дождь становился гуще. Совсем вымокла пилотка; зябла на ветру недавно остриженная голова. Сомкнув руки в рукавах, Фишер дрожал, поводил плечами, топал ногами, стараясь как-нибудь облегчить страдания. Но согреться было невозможно.

И ему ничего не оставалось больше, как притерпеться к холоду и примириться со своим положением. Хотя он коченел еще больше и сильно страдал от этого, он не мог не думать. И мысли его постепенно ушли в другом направлении, далеко от этого поля, этой ночи и окопчика. В привычные и горестные восприятия войны и отступления как-то постепенно входило подсознательное недовольство собой, неясное ощущение своей неполноценности. Хорошенько разобраться в этом все

было некогда – то бомбежки, то марши, короткие схватки на случайных рубежах и снова отступление. Он боялся признаться самому себе, но, кажется, где-то в глубине души надломились привычные до сих пор основы его существования, на которых с детства строил он свою жизнь.

Он был не так уж и молод – недавно разменял четвертый десяток, но за все прожитые годы ни разу в нем не появилось и тени сомнения в извечной силе прекрасного. Все самое лучшее, самое полноценное и мудрое видел он в высочайшем проявлении человеческого духа – в искусстве.

Он рос в Ленинграде. У его отца, доктора Фишера, была ценнейшая библиотечка монографий о великих художниках древности, и первые рисунки, захватившие воображение мальчика, оказались репродукциями из альбомов живописи и скульптуры. Борис рос тихим, болезненным мальчиком, не по годам серьезным, неохотно и редко спускался в тесный, захламленный двор, в котором всегда было студено и сыро, и часто подолгу рассматривал рисунки в отцовских книгах.

Потом он сам с трепетной радостью взялся за кисть и краски, рисовал то, что видел из окна квартиры: дома, улицу, лошадей, собак. Взрослые хвалили, а мальчику хотелось плакать от обиды, что все, такое красивое в представлении, так плохо получалось на бумаге. Наперекор людским убеждениям о его одаренности, Борис знал, что художника из него не получится. Но окончательно он убедился в этом, вероятно, позже, когда уже вся его душа без остатка принадлежала искусству, и юноша уже не мог существовать без него. Непонятной болью очарования душили его слезы перед босыми ногами «Блудного сына», истошный крик гнева и ужаса всегда рвался из его груди перед катастрофой Помпеи, ему хотелось молиться на «Джиоконду», бесконечно рассматривать необычные лица, позы, одежду знаменитой ивановской «Мессии», стыдливая радость жизни удержала его у полотен Рубенса.

И он, так и не став художником, все же связал свою жизнь с искусством. Учился, читал, думал, исследовал сам и в двадцать пять лет защитил диссертацию на степень кандидата искусствоведения. Ближе всех ему в эту пору стал Иванов с его бескорыстной самоотверженной душой, сгоревшей в многолетних поисках высшего смысла жизни, с его фанатичной приверженностью к истории и правде. Фишер преклонялся перед его «Мессией», любовался воздушной тонкостью его итальянских пейзажей, но особенно поражали его «Библейские эскизы» художника. Он нашел в них куда больше, чем ожидал, – Иванова, великолепного графика, и Иванова-философа, неутомимого искателя вечного. Его «Вирсавия»



казалась Фишеру не оцененным по справедливости зенитом акварельного мастерства, шедевром гения, который творил, ни на минуту не сомневаясь в величии своего творения.

Искусство навсегда очаровало Фишера, наполнило его непреодолимой жаждой прекрасного. После диссертации он несколько лет исследовал итальянское Возрождение, начал монографию о Микеланджело. Проявление высокой духовности поражало его почти в каждом из художников прошлого, и он очень жалел, что так быстро идет время и так коротка человеческая жизнь. Он совершенно не интересовался политикой, той беспокойной, хлопотливой действительностью, что бурлила, плыла, обгоняла его. С детства он обособился от всего, что не составляло хотя бы отдаленной сути искусства, ставшего содержанием всей его сознательной жизни. По этой, вероятно, причине он не понимал и не очень интересовался братом – инженером-конструктором самолетостроения. Еще с юношеских лет они как-то взаимно отдалились, встречались редко и по духу были чужими друг другу. Последний раз братья съехались два года назад на похороны отца и несколько дней провели вместе.

Брат был совсем другим по натуре. Энергичный, деловой и быстрый, он во всяком деле чувствовал себя как рыба в воде и все понимал с полуслова. В последний вместе проведенный вечер они медленно шли по Невскому. Парило, было душно. С Фонтанки приятно тянуло прохладой. Из-под Аничкова моста одна за другой выскользнули на середину реки байдарки. Братья остановились у одной из скульптур клодтовского «Укрощения» и рассеянно наблюдали за слаженными рывками гребцов.

– Вот так и у нас с немцами, – продолжал прерванный разговор брат. – Будто и согласие, и дружба, и мир, а на самом деле...

Он не кончил, смолк, вглядываясь в маслянистую гладь воды, а Борис никак не мог сообразить, что означало это «на самом деле». Ему казалось, брат утрирует, ибо давняя вражда с Германией улажена, договор заключен, газеты дают немецкую информацию о войне на Западе, повсю развиваются торговля и культурный обмен. К чему же тогда «на самом деле»?

Он сказал это брату, а тот, затянувшись папиросой, только улыбнулся. Потом, помолчав немного, объяснил с укоризной:

– Отстал ты от времени. Занафталинился в древности. Конечно, твое дело, но в наше время это удивительно и, я бы даже сказал, непростительно. – Помолчав, добавил: – Мир на грани большой войны, пойми, брат.

Он тогда не поверил, а она вскоре грянула и понесла, эта страшная, большая война. Борис оборвал работу на сорок восьмой странице своей

монографии и больше уже не взялся за нее.

В армии он сразу почувствовал себя белой вороной, ни к чему не пригодным, самым незадачливым из всех в этой разноголосой, разноликой массе людей. Он долго не мог научиться ходить в ногу, быстро вскакивать при подъеме; неуклюже, под громовой хохот товарищей отдавал тесть; занятия по штыковому бою вконец обессиливали его. Сначала он горько переживал все это, болезненно сносил крикливые наскоки сержантов, каялся за пренебрежение военным делом в институте и думал, что он самый неспособный человек на земле. Потом помалу стал привыкать. На фронте уже другие, большие страхи и заботы вытесняли болезненное самолюбие интеллигента. Человек вдумчивый, он понимал, что в страданиях и муках медленно рождался в нем тот, кем он меньше всего готовился быть, – рождался боец. Но в то же время он почти с тревогой следил, как все меньше и меньше оставалось в нем от бывшего – от искусствоведа Фишера. Грубая фронтовая жизнь ежедневно и неумолимо стирала в его душе великую ценность искусства, которое все больше уступало жестоким законам борьбы. Выходило, что то высокое и вечное, чем дышал он почти тридцать лет, теперь, в этом военном хаосе, просто стало ненужным. И тогда пришло затаенное сомнение, в котором он сегодня наконец признался себе: в самом ли деле искусство – то действительно единственно великое, чему стоило отдать лучшие годы? Не ошибся ли он, признав его своей пожизненной ношей, не вернее ли поступил брат, отдав времени и людям усилия другого порядка, воплотившиеся теперь в реальную силу, способную защитить мир?

Неизвестно, сколько прошло времени, а черная ветреная ночь все секла землю холодным дождем. Фишер жестоко озяб, все в нем дрожало от непрекращающихся судорог холода, но какое-то мертвящее оцепенение отобрало способность шевельнуться, чтобы согреть себя. К спине и плечам липла холодная мокрая одежда, с бруствера плыли потоки грязи, в которой, увязая все глубже, противно хлюпали ноги. Фишер подтянул их к самому лицу, прикрыв колени мокрыми полами шинели. Когда от нестерпимого холода особенно сильно вздрагивало тело, он заодно стряхивал с себя дремотную лень и прислушивался. Вокруг по-прежнему завывал ветер и часто сыпал дождь.

Очень мучительно и медленно тянулась эта ненастная ночь. Под утро Фишер прикорнул, будто провалился в мутную бездну мыслей о себе, старшине Карпенко, об историзме Вазари, Микеланджело и также о том, как все-таки трудно стать настоящим бойцом.

Прикрыв за собой дверь сторожки, Пшеничный с отчетливой ясностью понял, что он навсегда уже отделен от этих пятерых людей, с которыми свела его непутевая военная судьба. С самой этой минуты, когда он ступил в дождливый мрак ночи, он оказался один, не связанный уже ни с кем во всем белом свете. Все его неладное прошлое осталось теперь за дверью темной задымленной сторожки, отрезанное по его доброй воле, будущее же лежало где-то на грязной, незнакомой дороге.

На какое-то время Пшеничного охватило волнение от сознания близкого осуществления своей затаенной мечты. Вдруг в его душе неприятно шевельнулись страх и нерешительность, коротенький укор самому себе. Он даже почувствовал, что может раздумать, испугался еще больше и мысленно выругал себя: «Не раскисай! Теленок!»

Он направился к железной дороге, перепрыгнув траншею, взбежал на невысокую насыпь и всмотрелся во тьму. Дождь перестал, понемногу ослабевал и ветер. Ночь окончательно сгустилась, утопив в осенней глуши все вокруг. Пшеничный знал: скоро начнет светать, а на рассвете, наверно, появятся на дороге немцы, и тогда уже будет поздно. Тогда он очутится между двух огней, и поэтому нужно было спешить.

Он еще постоял на дороге, вслушался, оглянулся на сторожку, из которой доносился приглушенный расстоянием голос Свиста, и сказал себе: «Давай!» Потом торопливым воровским шагом сбежал с насыпи, перескочил канаву и, не разбирая – по грязи и лужам, быстро пошел дорогой.

Взойдя на гулкий настил мостика в ложбинке, Пшеничный еще раз оглянулся и тут снова с особой силой почувствовал в душе тревожную тоску от сознания абсолютного своего одиночества. Это чувство, помимо его желаний, вдруг охватило его так цепко, что он даже остановился. Но тут же он вспомнил вчерашнюю стрельбу в тылу, недобрую озабоченность Овсеева, и это придало ему решимости. Нет, он не ошибается, он прав уже хотя бы потому, что все они там, в сторожке, осуждены на смерть. А он наконец постарается оседлать судьбу и доказать свое право на лучшую человеческую жизнь, которой он жаждал, несмотря ни на какие невзгоды.

С этими горячечными мыслями, в беспорядке суетившимися в голове, он быстро шагал, разбрызгивая лужи. Тем временем стало светать. Мутным, расплывчато-туманным отсветом обозначилось небо над горизонтом, стала проступать из темноты грязная, в лужах, дорога.

Пшеничный выбирался на взгорок с березами. Он знал, что где-то здесь в секрете должен быть Фишер, и слегка замедлил шаг. Фишера он не боялся, с этим недотепой он бы справился запросто, но все же считал, что теперь лучше не попадаться ему на глаза. Пшеничный скинул с плеча винтовку, повертел головой, прислушался – вроде нигде никого не было.

Вскоре березы остались позади. Пшеничный шел по дороге дальше, изредка настороженно оглядываясь. Тусклый серый рассвет, просачиваясь неизвестно откуда, отслаивал землю от неба, раздвигал туманный простор полей, постепенно отвоевывал у тьмы дорогу, канавы, кустарник с облетевшей листвой.

Порядком уже отдалившись от переезда и берез, Пшеничный с удовольствием отметил, что самое страшное пройдено. У него заметно отлегло от сердца, появились легкость и какая-то необычная лихость в мыслях. Перебросив из одной руки в другую винтовку, он подумал, что оружие теперь ни к чему, а при встрече с немцами может только повредить ему. Не останавливаясь, схватил винтовку обеими руками за штык, размахнулся и швырнул ее далеко за канаву. Услышав, как она тупо шлепнулась о размякшую землю, Пшеничный криво ухмыльнулся. Теперь ничто уже не связывало его с армией, с обязанностями гражданина Советской страны. Теперь он остался один между небом и землей. Это было непривычно – чувствовать себя одиноким, совершенно независимым от людей. Правда, он знал: так не проживешь. Чтобы спастись от гибели и заполучить у судьбы лучшую долю, в его положении самым разумным будет сдаться немцам – на их милость и власть.

От быстрой ходьбы Пшеничный разогрелся, расстегнул ворот шинели, слегка сбавил шаг – уже можно было не торопиться. Тем временем утро разогнало тьму, стало светло, и он, обходя лужи, пошел по обочине дороги. Тишина и однообразие ходьбы совсем уже успокоили его. Пшеничный захотел есть и, подумав, что для того теперь самый подходящий момент, на ходу развязал мешок. Тут он недобрым словом еще раз помянул Свиста, вытащившего сало. Правда, краюха хлеба с сахаром показалась ему не менее вкусной, и Пшеничный, жуя, весь ушел в свои мысли.

Его несколько заботило, как к нему отнесутся немцы. Хорошо, если бы сразу встретился какой-нибудь толковый командир, лучше офицер. Пшеничный показал бы ему немецкий пропуск-листовку, некогда найденную в поле и заботливо припрятанную на всякий случай. Потом он попросит отвести его в штаб и там расскажет какому-нибудь начальнику, кто он и почему добровольно сдается в плен. Потребуют сведения о его полке – он ничего не утаит. Зачем? Все равно и без того полк будет разбит.

Потребуют еще что-нибудь – он сделает все, так как все это, наверно, пойдет в его пользу и будет обращено против тех, от кого он достаточно вытерпел на своем веку. Не может быть, чтобы немцы не оценили искренности его намерений и не вознаградили как следует. В лагерь его, как перебежчика, не должны отправить. Скорее всего, отпустят на волю, а может, даже предложат какой-нибудь пост в городе или сельской местности. Это казалось куда как заманчиво и давало ему возможность проявить немалые его способности. Уж он бы показал, на что способен и чего в нем так глупо не оценили Советы. Он бы не пожалел ни себя, ни людей, этих тупых оболтусов, которых немцы начнут обучать уму-разуму и, конечно, прежде всего, порядку. А насчет порядка они мастера. Немцам, конечно, понадобятся преданные люди из местных, ведь пространства завоеванной России огромны. И Пшеничный, если повезет, возможно, добьется какого-нибудь приличного чина, обзаведется пусть небольшим, но аккуратным, на немецкий манер, хозяйством и спокойно, по-человечески, проживет на старости лет.

Вдруг впереди, совсем близко, послышался чей-то отрывистый говор. Пшеничный насторожился, до боли в глазах всматриваясь в затуманенную даль дороги, стараясь что-нибудь увидеть, и продолжал потихоньку шагать вдоль канавы. Из рассветного тумана неясными тенями проглянули крыши хат, голые кроны деревьев, плетень с позабытой тряпкой на жерди. За углом крайней хаты, куда сворачивала дорога, угадывалось присутствие людей, и Пшеничный еще больше встревожился: кто там? Было страшно снова встретить своих, русских, которые неизвестно как отнесутся к нему, безоружному. Опять-таки стало боязно и немцев. Пшеничный на какой-то миг снова почувствовал страх от того, что так поспешно принял это решение. Но изменить что-либо было уже поздно.

Из-за угла хаты вдруг показался сухопарый немецкий солдат. Упираясь в землю ногами, он выкатил из грязи мотоцикл и, не выпуская руля, ногой нажал на заводную педаль. Пшеничный не сразу понял, кто перед ним, и словно врос в землю от неожиданно охватившего его страха. Мотоцикл тем временем затарахтел, и тогда только немец увидел вставшего на дороге Пшеничного. Солдат встрепенулся, схватился за автомат, болтавшийся у него на груди. Из-за хаты выбежал еще один немец в пятнистом лягушачьем комбинезоне. Пшеничный почувствовал вдруг, как в груди что-то оборвалось, и в совершенной уже растерянности поднял обе руки.

Немцы стояли у мотоцикла, держась за автоматы, а он, с трудом переставляя сомлевшие ноги, боязливо шел к ним. Они не стреляли, только непонятно гыркнули что-то злое и враждебное. Один из них, тот, который

заводил мотоцикл – белолицый, с отвислой губой мужчина, – выплюнул на дорогу окурки и что-то крикнул. Пшеничный не понял и, не опуская рук, попытался объяснить:

– Я – плен, плен...

Потом он опустил одну руку, пытаясь достать из-за пазухи непростительно забытый в такую минуту пропуск-листовку, но немец опять угрожающе крикнул и повел стволом автомата. Второй, помоложе, что стоял поодаль, также наставил на него оружие, о холодным интересом рассматривая перебежчика.

Так Пшеничный стоял с поднятыми руками под направленными на него автоматами. Из дворов выбегали другие немцы, подкатило несколько мотоциклов с колясками, из которых торчали тупорылые стволы пулеметов. Солдат, что помоложе, и еще один подступили к Пшеничному, содрали с него вещевой мешок, ощупали карманы, бесцеремонно сорвали с цепочки ножик. Пшеничному не жаль было своего барахла, только его угнетала эта беспричинная озлобленность в их движениях и лицах, их обидная настороженная подозрительность. Сначала он пытался убедить то одного, то другого, что у него нет плохих намерений и что он сам, добровольно, сдается в плен. При этом он криво усмехался и с незатухающим страхом в глазах бубнил:

– Я плен, камарад немец... Сам плен, плен...

Взгляд его метался по лицам мотоциклистов. Он старался угадать более человеческого и снисходительного из них или увидеть офицера. И тут его взгляд встретился с мрачными глазами человека в фуражке и в длинной шинели с черным бархатным воротником. Сильно досадуя, что все получилось не так, как он думал, и оттого не в состоянии преодолеть дурного предчувствия, он бросился к этому немцу:

– Господин офицер! Я сам, я плен, плен... Офицер даже не взглянул на него. Он что-то говорил солдатам, натягивая на жилистую руку желтую кожаную перчатку. Пшеничный тогда окончательно пал духом, почувствовав: случилось непоправимое.

Немцы разговаривали между собой, казалось, утратив всякий интерес к Пшеничному. Офицер что-то сказал солдату с отвислой губой, тот дернул Пшеничного за рукав и махнул рукой вдоль дороги. Пшеничный догадался, что нужно идти, и, не оглядываясь, пошел, думая, что немец будет его конвоировать. Но солдаты оставались на месте, и он в недоумении замедлил шаг. Видя его нерешительность и, вероятно, желая подбодрить, они повелительно замахали руками в направлении пустой утренней улицы. Он удивился, поняв, что сопровождать его никто не намерен. Его лицо

искажилось гримасой, и Пшеничный, время от времени оглядываясь, нерешительно пошел по дороге.

Так он отдалился шагов на сто, все немцы остались сзади, лишь один мотоцикл затрещал мотором и развернулся, направляясь за ним. От страха Пшеничный уже терял власть над собой и, не зная, куда и зачем, как пьяный, брел по грязи, изрезанной следами шин. У поваленных ворот обнесенного тыном двора неожиданно появилась испуганная женщина в толстом платке с пустыми ведрами на коромысле. Пшеничный даже похолодел от неожиданности этой нелепой в такой момент встречи и в то же время вздрогнул от гулкой пулеметной очереди сзади. Грудь его пронзила боль, и он, надломившись в коленях, осел на грязную землю улицы.

Напоследок, судорожно хватая ртом воздух, Пшеничный еще услышал горестные причитания женщины и дико замычал – от боли, от сознания конца и ненависти к немцам, убившим его, к тем, оставшимся на переезде, к себе, обманутому собой, и ко всему белому свету...

Та же пулеметная очередь, что оборвала злосчастную жизнь Пшеничного, вывела из полусонного забытья и Фишера. Он испуганно вскочил в окопе и тут же снова свалился на дно, подкошенный болью в сведенных судорогой ногах. Уже совсем рассвело, хотя поле и лес еще затягивала редкая пелена тумана. Было тихо и сыро. У дороги на фоне мутного неба расплывчато и неподвижно застыли березы. Дорога лежала пустая. Из-за ложбины тусклым белым пятном едва пробивалась сторожка. Деревни, окутанной туманом, отсюда не было видно.

И тогда из сумеречной дали, в которой исчезала дорога, прорвался, нарушив предутреннюю тишину, беспорядочный треск моторов. У Фишера тревожно заныло в груди, ослабели руки. Настороженным взглядом впился он в даль, почувствовав, что, кажется, наступает минута, которая покажет наконец, чего стоила его жизнь. Кое-как собрав воедино остатки душевных сил, он привычно передернул затвор и уже не сводил близоруких глаз с затуманенной дороги, на которой должны были показаться немцы. Но то ли они не спешили, то ли так ослабло его зрение, только он долго ничего не различал там, хотя мотоциклетный треск приближался. Несколько минут передышки помогли Фишеру справиться с волнением, и он с необычайной ясностью осознал, что скоро все для него решится. Но при таких

обстоятельствах, когда все его действия в этом поле были на виду у старшины, он, сам того не сознавая, хотел, наконец, показать, на что способен «ученый». Это не было тщеславием новобранца или желанием выделиться среди других – просто так нужно было Фишеру. Видно, за эту мучительную ночь раздумий немудреная карпенковская мерка солдатского достоинства стала в какой-то степени важной и нужной для него самого.

И он ждал, от напряжения и внимания мелко стуча зубами и до боли в пальцах сжимая винтовку. От учащенного горячего дыхания запотевали стекла очков, но Фишер боялся их протереть, чтобы не прозевать немцев. Он, как никогда прежде, сознавал сейчас свой долг и свою задачу в этом окопе и был полон решимости выполнить их до конца.

А вообще, ему было нелегко, и он старался как-то подбодрить себя. Он понимал уже, что борьба за существование была первичнее искусства и что ей, вероятно, суждено пережить его. Этот неожиданный вывод слегка успокоил Фишера, и он почти примирился со своей участью.

Когда наконец из дымчатой завесы тумана вынырнули юркие приземистые силуэты мотоциклов, Фишер был уже почти спокоен. Он уперся локтями в размякшую землю бруствера и стал целиться. Но, видно, от долгого напряжения зрение его все мутнело, туман и проклятая близорукость не давали возможности как следует видеть цель. Фишер перевел дыхание, приложился еще раз и тогда понял, что попасть шансов у него мало.

Это открытие встревожило его. А мотоциклы тем временем, все набирая скорость и с каждой минутой все увеличиваясь в тумане, быстро неслись по грязной дороге.

Не зная, что еще предпринять, чтобы остановить врагов, Фишер все же как-то прицелился и выстрелил. Приклад сильно ударил в плечо, потянуло горьковатым запахом пороха. Он приподнял голову и всмотрелся: мотоциклы как ни в чем не бывало приближались. После минутного оцепенения Фишер быстро перезарядил винтовку и опять выстрелил. Потом еще и еще.

Выпустив всю обойму, он снова всмотрелся в даль. Небольшая колонна мотоциклистов по-прежнему ползла по дороге – никто не остановился, даже не обернулся в ту сторону, откуда вел огонь Фишер. Передний мотоцикл уже приближался к березам, и бойцу нужно было либо удирать на переезд, либо спрятаться. Но тут он с необычайной отчетливостью представил себе строгое скуластое лицо Карпенко и почти наяву услышал его обычный пренебрежительный окрик: «Разиня!» Это больно ударило по его самолюбию; не зная еще, что сделает, Фишер



впихнул в магазин новую обойму и направил винтовку в сторону берез.

Это было самым верным и самым опасным из всего возможного при тех обстоятельствах. За короткое время, пока боец, затаив дыхание, прижимался к брустверу и вел, вел стволом за мотоциклом, ни одной сколько-нибудь отчетливой мысли не появилось в его голове. Окончательно выпали из его памяти и жизнь, и искусство, и все мысли о назначении своей личности – весь огромный мир оказался в ту минуту заслоненным от него быстро приближающимся силуэтом переднего мотоцикла.

Пружинисто покачиваясь из стороны в сторону и аккуратно объезжая лужи, он приближался к березам. Уже можно было рассмотреть плечистого, как бы влитого в сиденье, водителя в шинели и каске; ниже, в коляске, важно сидел второй немец в высоко торчащей фуражке, с черным воротником шинели. Фишер не думал тогда, что его самого могут убить раньше, чем он успеет в кого-либо попасть. Он не старался спрятаться в окопе и продолжал старательно целиться. Когда мотоциклист поравнялся с березами, Фишер выстрелил. Сидевший в коляске немец слабо дернулся на сиденье и завалился набок. Фуражка его, упав с головы, покатилась по обочине дороги. От радости Фишер вскрикнул, и тотчас же оглушительный грохот острой болью расколол его голову. Боец выпустил из рук винтовку и, обрушивая руками мокрую землю, сполз на дно окопа.

Какое-то время Фишер еще был жив, но уже не чувствовал ничего и не видел, как бросились немцы к убитому им офицеру, как бережно уложили его в коляску. Потом двое или трое из них, шаркая по стерне сапогами, подбежали к окопчику и разрядили в него свои автоматы. Молодой, в пятнистом комбинезоне автоматчик с блеклыми навывкате глазами склонился над окопчиком, рванул Фишера за мокрый ворот шинели и тотчас отдернул руку. Несколько секунд он постоял над убитым, не зная, что предпринять еще, потом пнул сапогом противогазную сумку на бруствере. Из сумки выпали кусок черствого хлеба, несколько обойм с патронами и потрепанная старая книжка в черной обложке – «Жизнь Бенвенуто Челлини, флорентийца, написанная им самим». Отброшенная в стерню, она раскрылась, и утренний ветер, который уже начал разгонять туман, слабо заворошил зачитанные ее страницы.

Услышав далекую, знакомую по темпу очередь немецкого пулемета, Карпенко рванул дверь сторожки и зычным голосом, способным поднять

полк, крикнул:

– В ружье!

Глечик и Свист, щуря заспанные глаза, бросились к двери. Свист спросонья никак не мог попасть в рукав шинели и так и выскочил из сторожки, недоуменно оглядываясь вокруг. Овсеев, побледнев, сноровисто прыгнул в траншею и притаился в ячейке. Карпенко тоже занял свое укрытие и залязгал затвором, заряжая пулемет.

С минуту они сидели не шелохнувшись, боясь потревожить тишину. Ждали. Но нигде никого не было. Тогда тревога стала постепенно униматься. Бойцы осмотрелись, заговорили. Карпенко, вспомнив об исчезновении Пшеничного, громко и зло выругался.

– Где же Пшеничный, собачье рыло? Ну, я ж ему и дам!

Свист и Овсеев, впервые услышавшие об исчезновении Пшеничного, с недоумением посмотрели на старшину. Это событие неприятно поразило их, но нужно было следить за дорогой, ибо, судя по всему, там произошло что-то еще худшее.

Припав грудью к брустверу окопа, старшина напряженно всматривался в туман и зло думал то о пропавшем Пшеничном, то о недотепе Фишере, молча сидевшем в поле и не подававшем никаких признаков жизни. Карпенко не сомневался, что в деревне немцы. Он не знал только, когда они наконец покажутся из тумана, и боялся, что Фишер не дай бог задремлет и попадет к ним в руки. На какое-нибудь сопротивление этого незадачливого бойца старшина совсем не надеялся...

Через некоторое время на переезде послышалось далекое тарахтение мотоциклов. Карпенко глянул на Свиста, который, беспечно высунувшись из окопа, не сводил глаз с дороги, на Овсеева, низко пригнувшегося к брустверу, и тоже впился взглядом в даль. Глечика, окоп которого находился за углом сторожки, отсюда не было видно, и старшина властно скомандовал:

– Внимание! Замри!

Сам он припал к прикладу «дегтяря», хищно сомкнул над переносицей широкие брови и напряженно сжался. И в ту же минуту все явственно услышали, как на взгорке забахали редкие одиночные выстрелы, и увидели выползавшие из тумана мотоциклы.

– Какого черта? – не понимая, почему не спасается Фишер, закричал старшина. – Беги! Эх ты, раз-зи...

Он не закончил. Выстрелы стихли, а мотоциклы в тумане продолжали катить к переезду, Карпенко ждал, что Фишер вот-вот побежит в ложбинку. Потом старшина стал думать, что боец решил затаиться, пропустить

немцев. Но вскоре снова раздался одиночный выстрел, который, видимо, задержал всю колонну. Старшина удивился, ничего не понимая, и застыл, пораженный непродолжительной, но смертельной для его бойца стычкой. Он уже знал, что Фишер для них потерян, и только прислушивался, ожидая, что будет дальше. Из этого оцепенения его вывело злое восклицание Свиста:

– Ах, собаки! Я ж вам влеплю!

Он схватился за свое противотанковое ружье. Но до немцев было еще далеко, еще рано было обнаруживать себя, и старшина прикрикнул:

– Стой! Я те влеплю!

Прошло еще несколько минут, мотоциклы все не двигались с места, и тогда у берез выплыли из тумана два бронетранспортера. Они ненадолго остановились возле переднего мотоцикла и медленно, с очевидной опаской стали спускаться вниз по дороге. За ними двинулись мотоциклы.

Уже совсем стало светло. Сквозь разорванный ветром туман в небе показались темные клочья облаков, кое-где между ними сиротливо проступала блеклая голубизна неба.

Старшину больше всего обеспокоили бронетранспортеры. Чтобы ударить наверняка, нужно было подпустить их как можно ближе, и Карпенко заранее наметил этот рубеж на дороге – мостик в двух сотнях шагов от переезда.

– Свист! – крикнул он бронебойщику. – Начнешь с заднего. Слышь?

– Будь спок! – коротко отозвался Свист, поводя длинным стволом ПТР.

Теперь все решали их выдержка и стойкость. Озабоченный, Карпенко уже не наблюдал за бойцами и не видел, как одиноко ссутулился за углом сторожки молоденький Глечик, как настороженно притаился за бруствером Овсеев, как в напряженной позе застыл с ружьем у плеча Свист. Перебегая в траншею, он, видно, где-то потерял пилотку и теперь зябко втягивал в плечи светлую, коротко остриженную голову.

Передний транспортер еще не достиг мостика, когда из него вдруг неожиданно и глухо вырвалось "бу-бу-бу-бу... ". По железной дороге, брустверу, по крыше сторожки и еще где-то сзади, с бешеной лютостью разбрасывая землю и щепки, прощелкала длинная очередь разрывных пуль. Карпенко лишь вздрогнул, когда на его щеку брызнуло грязью с бруствера, но вытираться уже было некогда. Подумав, что немцы обнаружили их, старшина прицелился и ответил длинной очередью из своего РПД.

Сквозь треск пулеметной очереди он различил рядом звонкий выстрел ПТР, и тотчас на броне передней машины сверкнула искра. Транспортер зачем-то метнулся в сторону, ткнулся передними колесами в канаву и стал.

Второй же проскочил вперед. И снова рядом, больно отдавшись в ушах, грохнул выстрел Свиста. Машина, сбавляя скорость, медленно остановилась. Мотоциклы завертелись на дороге, словно потревоженные большие насекомые, беспорядочно застучали немецкие пулеметы, и воздух над переездом наполнился густым визгом пуль

Карпенко хотел крикнуть Свисту, чтобы тот скорее добивал транспортеры, но не мог оторваться от пулемета. Скорей надо было использовать момент замешательства и не дать мотоциклистам возможности спрятаться за броню. Железной хваткой сжав пулемет, старшина бил по врагам то длинными, то короткими очередями и, кажется, сделал свое. Спустя несколько минут два или три мотоцикла уже валялись в придорожной канаве, перевернутые вверх колесами, один, брошенный водителем застыл на середине дороги. Только задний успел развернуться и помчался по дороге вверх. Карпенко пустил ему вслед несколько очередей, однако было уже далеко, и мотоциклисту удалось выскочить на пригорок.

Тогда старшина опустил пулемет. Транспортёр на дороге горел, охваченный мигающими языками пламени; над полем стлался хвост черного дыма. Второй стоял в канаве, задрав на обочину длинный пятнистый ящик кузова, чем-то напоминающий гроб, а вдоль по канаве один за другим удирали к березам с полдюжины немцев.

Старшина снова схватился за пулемет, но в нем уже кончились патроны. Меняя диск, Карпенко оглянулся на своих бойцов. Витька Свист торопливо бил зажигательными, стараясь поджечь второй транспортёр. С оживленным, даже каким-то вдохновенным лицом высунулся из окопа Овсеев, а за углом поклеванной пулями сторожки часто и, казалось, даже весело била и била винтовка Глечика. Карпенко радостно крикнул:

– Огня, огня давай! Бей, ядреный корень! Жги гадов!

И они еще стреляли по ложбине, по бегущим на пригорок немцам, пока те не скрылись вдали за березами. На дороге, в канавах, у транспортеров распластались неподвижные тела. Подбитая машина весело разгоралась дымным, рвущимся на ветру пламенем.

Тогда бойцы поняли, что первую атаку отбили, и огромная радость победы охватила всех. Свист залихватски выругался и с задорным выражением на веселом, испачканном грязью лице подошел к Карпенко. Сдержанно улыбался в своей ячейке Овсеев, где-то за сторожкой явно нехотя последним прекратил стрельбу Глечик.

– Витька – молодец, дай пять, – сказал Карпенко и крепким пожатием встряхнул руку бронебойщика. А тот, сияя радостью на курносом лице, объяснял:

– Понимаешь, думал по заднему, а когда передний дал очередь, решил: нет! Гад, такой трескотни натворил, уже думал, голову продырявит. Ну, я ему и звезданул в лобатину.

– А мне под самый ствол – разрывную, чуть глаз не вышиб, – говорил Карпенко, вытирая рукавом потнее лицо. – Ну, теперь утихомирились.

– А я мотоцикл подбил, – вставил Овсеев. – Вон тот, что в канаву свалился. Моя работа.

Конечно, они немножко прихвастывали, счастливо радуясь первой победе, каждый был полон собственных впечатлений, и никто не оглянулся назад, где возле угла сторожки в траншее стоял со своей драгункой до робости стеснительный Глечик. Неизвестно, как выдержал он это свое первое боевое крещение, но теперь его мальчишеские глаза тоже светились восторгом.

Карпенко, однако, не долго переживал свою радость, все-таки у них была первая жертва – Фишер, несомненно, погибший на своем посту, и выражение озабоченности тронуло грубое лицо старшины.

– Смотри-ка, а ученый-то наш не струсил!

Свист и Овсеев посмотрели туда, где чуть заметным пятном выделялся в стерне глинистый бруствер Фишера, и помолчали. В их большой радости просто не оказалось места для скорби по поводу гибели одного малознакомого им бойца.

– Признаться, я на него не надеялся, – нахмурившись, продолжал Карпенко. – А он, смотри ты...

Короткая радость-возбуждение, однако, быстро улеглась, и люди отдались новым заботам. Старшина знал, что вскоре опять надо ожидать немцев, да с еще большими силами, чем эти, которые были, судя по всему, разведкой. Он приказал Свисту, Овсееву и Глечику готовиться к новому бою, а сам стал набивать два пустых магазина. Свист и Овсеев разошлись по своим ячейкам.

Прислонившись спиной к стенке траншеи, Карпенко щелкал в диске патронами. Он чувствовал в себе какую-то неловкость оттого, что давеча накричал на Фишера, что вообще не раз пренебрегал этим бойцом. Правда, еще и теперь старшина затруднялся понять, как этот интеллигент-книжник отважился на такой храбрый поступок. Бесспорно, в характере его было что-то трудно постижимое, и Карпенко, всю жизнь уважавший людей открытых, простых и решительных, впервые теперь усомнился в своей правоте. Впервые, может быть, почувствовал он, что есть и еще какая-то неизвестная ему сила, кроме силы мышц и внешней волевой решимости.

– Но где же Пшеничный? Неужто сбежал, собака? – сам у себя спросил

он и покачал головой, подумав, что и тут проворонил – чего-то недосмотрел в человеке,

Алику Овсееву готовиться к новому бою, собственно, было нечего: патронов хватало, винтовка в исправности, окоп был довольно глубокий. Боец, расстегнув шинель, навалился грудью на бруствер и стал наблюдать за дорогой.

Каких-нибудь полчаса назад в грохоте короткого боя никто не заметил, что после первой очереди из транспортера Овсеев нырнул за бруствер и, как мышь, затаился в траншее. Он совсем не видел дороги, по которой ехали немцы, и не стрелял, только, повернув голову, исподтишка наблюдал за Карпенко. Пока не прекратилась стрельба, Овсеев не переставал корить себя, что не убежал ночью, когда стоял часовым, не удрал за лес, где можно было бы присоединиться к какому-нибудь подразделению и обхитрить смерть. Он уже догадался, что Пшеничный исчез насовсем, и ему было досадно за свою нерешительность, за которую, видно, придется заплатить жизнью. Но против гибели отчаянно протестовало все его тело, весь его напористый дух. Каждая его клеточка туго напряглась, словно натянутая струна, и жаждала только одного – выжить.

Между тем шел настоящий бой, а никакой гибели не было. Потом выстрелы с дороги затихли, только рядом грохало ПТР Свиста да тархтел пулемет старшины, и Овсеев осторожно выглянул из траншеи.

То, что он увидел на дороге, сразу отрезвило его, разом исчезло мучительное ожидание конца. Боец схватил винтовку и начал стрелять. Он бил по немцам, удиравшим канавой. Вскоре ему показалось даже, что один из них упал, настигнутый его пулей. Это оказалось даже приятным – вот так невзначай побеждать. И хотя Овсеев давно уже определил свое отношение к этой борьбе, теперь что-то в ней невольно захватило его. Бой скоро кончился, и он в избытке нахлынувших чувств даже пожалел, что так мало досталось ему этой торжествующей радости.

Чем больше проходило времени, тем больше радовался Овсеев тому, что остался здесь, не поддавшись слабости и страху и что вот теперь может полною мерой испить сладость никогда еще не испытанного им такого приятного чувства победы. Мысли его устремлялись все дальше, и Алик представлял уже, что, если им посчастливится выбраться отсюда живыми, их, вероятно, представят к награде, тогда и его грудь украсит медаль или

орден. Это было чрезвычайно заманчиво и приятно.

Так в раздумьях шла время, а вокруг все еще было тихо. Где-то за поредевшими, прорванными до небесной синевы облаками пророкотали и ушли самолеты. Из-за леса донеслись глухие разрывы бомб, от которых содрогнулась земля. День снова начинался ветреный, по-осеннему ненастный и студеный, но теперь капризы погоды отступили для них на второй план.

Свист все никак не мог справиться с радостным, переполнявшим его возбуждением. Нисколько не остерегаясь, он вылез из грязной траншеи и в незастегнутой шинели с поднятым воротом уселся на тыльном бруствере. Правда, сейчас можно было и не остерегаться, дорога и поле впереди были пусты. Транспортёр догорал, подставив ветру закопченный железный бок. Рядом валялись подбитые мотоциклы. Свист, все время посматривая туда, наконец не выдержал:

– Командир, – позвал он Карпенко, очищавшего лопаткой свою ячейку от грязи. – Давай махну туда на минутку. А?

Карпенко выпрямился, поглядел в поле и поморщился: видно было, что он не одобрял намерения Свиста, но теперь и отказать бронбойщику тоже было неудобно.

– А, командир? – не отставал Свист. – Может, из жратвы найдется чего? А то уже пустовато, ярина зеленая!

– Ладно. Только смотри, кабы чего там...

– А что – все вон распластались, – обрадовался бронбойщик и перепрыгнул траншею. – Овсеев, айда вдвоем.

– Нет уж. Спасибо.

– Что, трусишь? – пренебрежительно бросил Свист и позвал Глечика: – Айда, салажонок!

Глечик растерялся, не зная, как поступить. Ему очень хотелось посмотреть на побитых немцев, хотя и боязно было вылезать из траншеи туда, где недавно еще лютовала смерть. Но и отказаться он не решился, тем более что Свист на ходу заверил:

– Не трусь, все в норме будет.

Глечик подхватил винтовку и выскочил из траншеи. Они перешли железную дорогу и быстрым шагом пошли по проселку к ложбине.

Тут, на просторе, Глечика совсем стало страшно, все тянуло отстать от Свиста, спрятаться за его спину. Думалось, что вот-вот из немецких машин раздастся очередь – и смерть жуткой болью пронзит тело. Однако возле транспортеров все было спокойно, и боец, преодолевая страх, шагал рядом с товарищем. Так они перешли мост. Никто не стрелял в них, и Глечик

понемногу успокоился. Свист же довольно решительно, с засунутой за ремень гранатой подошел к стоявшему на дороге транспортеру, заглянул в его открытую сзади дверцу. Живых тут не было никого. Поодаль лицом в грязь уткнулся убитый немец, рядом с ним в канаве лежал второй. Воняло жженой резиной, тлеющим тряпьем и краской. Не видя опасности, Глечик настолько осмелел, что тоже вплотную подошел к машине.

Осмотрев все снаружи, Свист ухватился за дверцу и прыгнул внутрь транспортера. Глечик, выставив вперед винтовку, полез было следом, но тут же отпрянул: на черном клеенчатом сиденье, откинув голову и свесив вниз окровавленную руку, лежал гитлеровец. Преодолев первый испуг, боец с любопытством, смешанным со страхом, поглядел в его бескровное белобрысое лицо, будто стараясь увидеть на нем разгадку той воинственной алчности, которую несла в Россию многомиллионная армия этих разбойников. Но лицо это выглядело обычным, худощавым, небритым, и ни следа боли или какого-нибудь другого из человеческих чувств на нем уже не было. Свист же, безразличный к убитому, бесцеремонно переступил через него и, лязгая каким-то железом, стал рыться в чреве машины.

– Глечик, держи!

Он просунул в дверцу новенький, совсем не обгоревший вороненый ствол пулемета. Глечик принял его, а Свист еще покопался немного и соскочил с охапкой металлических пулеметных лент. Их он тоже отдал Глечику, а сам подхватил по дороге немецкий автомат, ногой перевернул на спину его владельца и брезгливо сплюнул в канаву.

Глечику все время было не по себе. Убитые лежали совсем как живые: в шинелях, пилотках и касках, с круглыми коробками противогазов на ремнях. Никто из них не двигался, но казалось, в любое мгновение они могут вскочить и броситься на них. Свист тем временем, не обращая на убитых никакого внимания, осмотрел мотоцикл, обошел второй транспортер, который засел в канаве и все еще продолжал дымить. Через борт боец влез в его кузов.

– Черт, нет ничего, – недовольно сказал он. – Сгорело все, одни головешки. Хоть бы пожрать чего...

Глечик даже обрадовался, что ничего не нашлось, – какая там еда, когда тошнит от всего этого!

Долго тут расхаживать они не стали и вскоре подались обратно.

Глечик тащил пулемет, тяжелый моток металлических лент и уже не чувствовал никакого страха. Эта вылазка даже понравилась ему, и он не переставал восхищаться друзьями, учинившими такой разгром. Казалось даже невероятным, что им, шестерым бойцам, удалось так искромсать



прославленную германскую технику, пострелять тех самых немцев, которые завоевали Европу и которых от самой границы не могли остановить наши дивизии. Глечик не мог понять всего, но чувствовал, что и Карпенко, и Свист, может, и Овсеев за внешней своей простотой и грубоватостью таят в себе что-то надежное и сильное. И только в нем, Глечике, кажется, не было еще никакой решительной силы, и поэтому столько страху натерпелся он в недавнем бою. Но он старался душить в себе этот страх, хотел хоть чем-нибудь помочь общему делу и защитить себя. Теперь же, познав радость победы и слегка успокоившись, он готов был сделать все, что угодно, и для командира Карпенко, и для отважного Свиста. Ему до слез было жалко беднягу Фишера, с которым они даже немного подружились в последние дни и раз пообедали из одного котелка. Молодой, одинокий и искренний Глечик потянулся к ним – этой маленькой группке бойцов, в которой и он постепенно стал обретать себя.

– Вот это дело! – сказал Карпенко, когда они подошли к траншее. – Вот за это хвалю.

Он перенял от Глечика его ношу, с интересом осмотрел новенький пулемет, огромной пятерней потянул на себя рукоятку затвора.

– Трофей! – засмеялся Свист и спрыгнул в траншею. – А пожрать ни шиша. Все сгорело.

Карпенко повертел в руках пулемет, подергал затвором, прицелился. Пулемет ему явно нравился, но старшина все еще что-то нерешительно взвешивал.

– А патроны? – спросил он Свиста. – Это и все? Нет, не пойдет. На, Овсеев, осваивай машину. Свист только присвистнул.

– Ну и зря. Ничуть не хуже твоего «дегтяря».

Овсеев между тем без особой радости взял пулемет, а Витька, запустив руку в глубокий карман шинели, что-то подал старшине.

– Ну, а на это что скажешь? А?

Карпенко осторожно взял с его ладони круглые карманные часы на длинной блестящей цепочке, заскорузлыми большими пальцами бережно открыл футляр, покрутил головку. Это были великолепные карманные часы с секундной стрелкой и выпуклыми, светящимися во тьме цифрами на кремовом циферблате.

– Пятнадцать камней, анкерный ход! – хвастал Свист. – Можешь взять. На именины не подарю, а теперь – пожалуйста.

– Смотри ты, какая штукавина: пятнадцать камней, говоришь? – не то всерьез, не то со скрытой иронией спросил старшина. – Молодец Свист, молодчина. Этак через месяц-два из тебя заправский мародер получится.

Первый сорт, ярина зеленая!

– Ну скажешь еще – мародер! – засмеялся Свист. – Не хочешь, давай сюда.

Он протянул руку, но Карпенко, не обратив на нее внимания, размахнулся и изо всей силы ударил часами об иссеченную пулями стену сторожки. Посыпалась штукатурка, и, казалось, с тонким звоном разлетелись в разные стороны все пятнадцать камешков.

– Вот и все. И молчок! – сказал командир и отвернулся к своему пулемету.

Свист почесал затылок и действительно не сказал ни слова.

Заинтересовавшись принесенным пулеметом, Глечик подошел к Овсееву, и они вдвоем начали изучать этот трофей. Но Овсеев опять почему-то стал невеселым с виду, почти подавленным, и невозможно было понять, рад он оружию или не очень. Все же, заметив любопытство Глечика, он положил пулемет на бруствер, сдул с него пыль и открыл затворную коробку.

– Эмгэ тридцать четыре, последней модели. В училище изучали. Скорострельность тысяча выстрелов в минуту – не ровня «дегтярю».

Глечик внимательно прислушивался к словам более опытного товарища, думая, что тот покажет, как обращаться с пулеметом. Но Овсеев вдруг с непонятной враждебностью бросил:

– А вообще, на кой черт! Ты принес, ты и стреляй!

– Так я не умею, – чистосердечно признался Глечик. Овсеев щелкнул затвором.

– Ты не умеешь, а мне еще жить охота!

Он не хотел говорить Глечiku, что с пулеметом гораздо опаснее в бою, чем с винтовкой, что раньше всех погибают пулеметчики, что теперь ему уже не спрятаться в траншее, потому что Карпенко потребует огня, и Овсееву придется рисковать головой. Сразу недобро омрачилось его прояснившееся было лицо, снова в его быстрых глазах забегали огоньки раздражения. Действительно, как это он не превозмог нерешительности и не воспользовался такой подходящей для спасения ночью. Тоскливое чувство обреченности все больше охватывало его. Морща свой мокрый вспотевший лоб, он продолжал думать о том, как найти выход из создавшегося положения. Прикинул: если отдать пулемет Глечiku, можно,

прикрываясь углом сторожки, незамеченным пробраться к лесу. Думалось, напуганный боем, Глечик согласится на это, а он пообещает затем помочь уйти и ему. Вот почему, вдруг круто изменив свое отношение к молодому бойцу, Овсеев по-дружески похлопал его по плечу:

– Слушай, бери пулемет! Стрелять научу.

– Давай! – обрадовался Глечик и подошел ближе.

Овсеев уже было воспрянул духом и начал объяснять принцип действия пулемета, когда вдруг от сторожки раздался строгий голос Карпенко:

– Овсеев, кончай хитрить! Не на базаре! Этот окрик заставил Овсеева осечься на полуслове, и он с ненавистью посмотрел на старшину.

– Собака! Фельдфебель. Черта ты тут прoderжишься. Перебьют, как мышей.

Глечик в растерянности молча протирал вороненую сталь пулемета. В сердцах брошенные Овсеевым слова, что их всех перебьют, в конце концов встревожили и его. Но парню не хотелось и думать об этом, настолько он свыкся с мыслью об их удаче.

– Пшеничный вот смылся, – мрачно сообщил Овсеев. – Успел.

– Как смылся? – простодушно удивился Глечик.

– А так. Махнул в тыл и теперь где-то в обозе портянки сушит.

Глечик уныло потупился, стараясь осознать скрытый смысл их непростого теперь положения. Опять же Пшеничный! Как можно было бросить товарищей, взвод, удрать в тыл? Этого паренек, сколько ни старался, не мог понять.

Пока Глечик мучительно раздумывал, Овсеев медленно отошел в траншею и, облокотившись о бровку, исподлобья внимательно наблюдал за ним. Первый вариант его плана провалился в самом начале, и теперь Овсеев с присущей ему изворотливостью думал, что предпринять еще. Сговариваться с Глечиком, видно, не имело смысла, парень он недалекий и теперь слегка обстрелялся, осмелел и бежать, вероятно, не согласится. Не решаясь окончательно раскрыть ему свое намерение, Овсеев прикидывал и так и эдак, пока громкий голос Карпенко не призвал защитников переезда:

– К бою!

Невольно подчиняясь команде, Овсеев схватился за пулемет, испуганно бросился на свое место Глечик, а старшина властно и сурово командовал:

– Свист, на прицел – танки! Овсеев – по пехоте. Глечик – гранаты к бою! Замри! Огонь по команде!

Вдали по хорошо просматриваемой дороге на выезде из деревни,

крыши которой чуть виднелись из-за пригорка, показались немцы. Наверно, это была большая колонна, она двигалась медленно, с несколькими танками во главе.

Над серым осенним полем, над перекрестком дорог и далеким лесом, за которым было для этих людей спасение, грустной усмешкой блеснуло низкое солнце. Только на мгновение его лучи скользнули по сырой глинистой траншее, серой середине стерни, пламенем коснулись пожухлой листвы берез. И эта спокойная солнечная ласка острой тоской тронула сердца бойцов. Глечик направил на дорогу винтовку, осторожно загнал в ствол патрон и прижал к плечу выщербленный деревянный приклад. Боец слегка побледнел, зябко вздрагивал и, стараясь унять тревожную нервную дрожь, плотнее прижимался к земле. Карпенко оставался внешне спокойным, только морщины на его лбу, казалось, прорезались глубже, чем прежде. Овсеев сморщился, как от зубной боли, и растерянным взглядом шарил вокруг, ища, видно, спасения. В этом мучительном напряжении вдруг необычно и дерзко прозвучал лихой возглас Свиста:

– Выше головы, огольцы! Пока суд да дело, слушай побасенку.

Глечику за углом сторожки не виден был этот чудаковатый парень, но он услышал его голос и удивился. Удивленно шевельнул бровями насупленно-озабоченный командир, нервно повернулся к соседу Овсеев. А Свист, уткнув в грудь обшитый кирзой приклад пэтээра и следя за противником, начал:

– Значит, так. Сидят в тюрьме два босняка. Обругали на чем свет городского, потому сидят голодные и про жратву мечтают. Говорит один: «Давай, Егор, сделаем подкоп и удерем». – «Давай», – соглашается другой. «Собьем замок и ограбим хлебную лавку». – «Давай». – «Схватим буханку и по очереди: я кусь, ты кусь...» – «Ага, – облизывается Егор. – И я кусь... кусь». – «Я кусь, а ты что – два раза кусь-кусь? – взревел вдруг Филипп. – Вот тебе!» – И в рыло Егору. Тот как взвывает: «Ты ведь сам два раза укусил». И ну драться. Влетел надзиратель, разнял и обоих в карцер на одну воду. Вот... Можно смеяться.

Но никто не смеялся. Карпенко не сводил глаз с колонны, которая медленно, но неотвратно приближалась. Уже слышно было, как содрогалась земля от танков, как стрекотали их тяжелые траки. Пехоты, кажется, было немного – всего несколько машин, а дальше, замыкая колонну, шли автомобили с грузом. Поравнявшись с березами на пригорке, машины стали, и из кузовов посыпались пехотинцы. Они тут же разбегались в стороны, образуя неровную суетливую цепь. Машины начали разворачиваться на дороге, дальше по которой пошли лишь три танка.

– Витька! – среди нарастающего грохота встревоженно крикнул Карпенко. – Не спешить!

Свист не спешил. Где-то в глубине его души тоскливо заныло недоброе предчувствие: знал боец – начинается нелегкое. Но это было какой-то короткий момент, и тут же Свист перестроился на обычный свой лад. Плохо, правда, что танки шли прямо, в лоб, хоть бы один свернул куда-нибудь в сторону, подставил борт, и тогда бы уж Витька всадил в него зажигательную. Но они не сворачивали, а у дороги, не в состоянии угнаться за ними, отставая, развертывалась пехота.

В середине пригорка передний танк на ходу грохнул выстрелом – над переездом зло фыркнуло, и тотчас на картофельном поле вздрогнула от взрыва земля. Второй снаряд угодил в насыпь железной дороги перед самой траншеей. Бойцов оглушило, обдало пылью, землей, кислым смрадом тротила. На линии вздыбились несколько вывороченных из насыпи шпал и конец перебитого рельса.

Покачиваясь на неровностях дороги, танки спускались в ложбину. Переезд молчал. Передний танк приблизился к обгорелым бронетранспортерам, столкнул в канаву брошенный мотоцикл и слегка повернул, стараясь обойти препятствие – развернувшийся наискось транспортер. И тогда, не дожидаясь команды, но очень вовремя, звонко грохнуло ружье Свиста. Танк сразу стал. Еще ничего не было видно – ни дыма, ни пламени, но сбоку уже отскочила крышка люка, из которого, будто тараканы из щели, посыпались на дорогу черные фигуры танкистов. Старшина дал первую очередь.

Почти в одночасье весь этот унылый осенний простор наполнился беспорядочным визгом, треском и грохотом. Попад под обстрел, пехота поспешно залегла в поле и открыла по переезду дружный огонь. Второй танк уже осторожнее продвигался по дороге. Он оттолкнул в сторону транспортер и, приостановившись, задвигал стволом орудия, наводя его на переезд.

– Ложись!.. – голосисто крикнул Карпенко. Но не успел его крик утонуть в грохоте боя, как мощный взрыв черной земляной тучей накрыл переезд: траншею, людей, сторожку. Когда пыль осела, стали видны развороченные в стороны стены сторожки, обломки досок, куски штукатурки, а на том месте, где когда-то стояла печка, курилась небольшая воронка.

Переезд смолк, казалось, никого в живых уже не осталось в траншее. Но вот в самом конце ее мелькнул присыпанный землей силуэт Свиста – боец дергал затвор и с отчаянной злостью ругался. Незаменимый его ПТР,

не раз выручавший людей из беды, неуклюже выглядывал из-за бруствера коротким перебитым стволом.

– Старшина! Старшина! Что натворили, гады ползучие! Подонки! Выродки! – неистово кричал Свист, без нужды клацая затвором теперь уже бесполезного оружия. И тогда из окопа расслабленно поднялся их побледневший старшина. Станным невидящим взглядом он посмотрел на дорогу, повел рукой по раненой голове, с которой на шинель, бруствер и на приклад пулемета лилась густая темная кровь.

– Свист!.. Не пускать! – натужным голосом выкрикнул он и свалился в траншею.

Свист, минуя Овсеева, который, втянув голову, корчился в ячейке, бросился к старшине. Командир тяжело хрипел, крутил головой и твердил глухнувшим голосом:

– Танки, танки... Бей танки!

Он не знал, что бить танки было уже нечем, и Свист ему не сказал об этом. Бронебойщик выхватил из кармана индивидуальный пакет, дрожащими руками начал бинтовать старшине голову.

– Ничего, ничего!

Потом он вскочил. Ему вдруг показалось, что немцы уже рядом, а они только вдвоем. В это время из-за разбитой сторожки забухали выстрелы Глечика, и обрадованный Свист схватил пулемет старшины. Немцы с поля уже перебежали в ложбину, а два танка, один по правой стороне дороги, другой по левой, обойдя транспортеры, осторожно подходили к мосту. Очереди из их пулеметов секли землю, железную дорогу, бурьян, визжали в высоте, рикошетили от рельсов. Взрывы и выстрелы наполняли простор визгом и грохотом.

Свист был человеком действия, не в его характере было думать и рассуждать даже в спокойное время. Теперь он понял, что, прорвавшись к переезду, танки передавят их в этой траншее и, никем не задержанные, пойдут дальше, к лесу. Единственное место, где еще можно было задержать их, – мост, по обе стороны которого лежало болото. Эта мысль мгновенно озарила его, когда передний танк был уже в каких-нибудь пятидесяти метрах от моста.

Бронебойщик бросил пулемет и, рванувшись в конец траншеи, крикнул скорченному в ячейке Овсееву:

– Давай к пулемету!

Сам же схватил в обе руки по тяжелой противотанковой гранате, перевалился через бруствер; пригнувшись, в три прыжка достиг железной дороги и кубарем скатился в вырытую снарядом воронку. Там он

осмотрелся. Танки продолжали двигаться. Пули из их пулеметов коротко и люто низали воздух над самой насыпью. Свист слегка помедлил, тяжело дыша и собираясь с силами к последнему, решительному броску. Взбивая сырую землю, наискось от шпал к канаве пробежала очередь – «вжик, вжик», оставляя на обочине неровную цепочку пятен. Бронебойщик вскочил и что было силы бросился вниз, под прикрытие невысокой дорожной насыпи.

По бедру его все же хлестнуло, боец почувствовал, как к колену сбежала горячая струйка крови, но боль была несильной, и он не обратил на нее внимания. Пригнувшись за насыпью, он бросился к мостику, на который, замедлив ход, словно конь, пробуя надежность опоры, въезжал танк. Удушливая горечь перехватила Свисту дыхание, но он добежал

Они сошлись как раз на мосту – обессилевший, раненый боец и горячее стальное страшилище. Свист, слабо размахнувшись, одну за другой швырнул под гусеницы обе свои гранаты, но сам ни укрыться, ни отскочить уже не успел...

Неизвестно, что показалось немцам, но, после того как их танк, подорванный Свистом, провалился под мост, врезавшись пушкой в торфянистую топь болота, они отошли на пригорок и стали окапываться. Третий танк дал задний ход и тоже пополз вверх. Стрельба утихала. Присыпанный землей, чумазый, измученный Глечик оторвался от своей винтовки.

Он весь трясся от пережитого и едва сдерживал себя чтобы не потерять самообладания и не расплакаться. Чувства и разум его не могли примириться с мыслью, что нет в живых Свиста, что, отброшенный взрывом в болото, тот никогда не поднимется больше. Но самым страшным для Глечика было оказаться свидетелем гибели всегда решительного, властного их старшины, без которого боец почувствовал себя маленьким, слабым, растерянным. Он не обрадовался даже отходу немцев и, охваченный новой тревогой, бросился по траншее к Карпенко.

Старшина был еще жив, но лежал без сознания. Лицо его недобро осунулось, щеки запали, стали мертвенно-бледными под ставшей торчком щетиной. Он лежал на боку, откинув голову, в набрякшей кровью повязке и, вздрагивая, судорожно шевелил губами. Глечик, упав на колени, склонился

над раненым; измученное сердце бойца готово было разорваться от горя.

– Товарищ старшина! Товарищ старшина! Свиста убили, убили Свиста, – словно ребенку, мягко втолковывал он командиру, придерживая его окровавленную голову.

– Свист!.. Свист!.. – не узнавая бойца, тихо прошептал старшина. Его пересохшие губы едва шевелились, паузы между словами все увеличивались.

– Свист!.. Бей!

Глечик понял, что командир бредит, и у бойца задрожали губы от жалости к нему, к себе, к погибшему Свисту, от страха и безысходности. Не зная, чем помочь раненому, он все поправлял его голову, подкладывая под нее пилотку. Но старшина не мог лежать спокойно, дергался, скрежетал зубами, все рвался куда-то и натужно требовал:

– Свист!.. Свист... Бей же, раз-зия!..

– Они отошли, – силился объяснить ему Глечик. – Отошли за березы.

Старшина, кажется, понял, притих, тяжело, с усилием раскрыл глаза и затуманенным взглядом посмотрел на бойца.

– Глечик! – будто успокоенно и даже обрадованно, произнес он. – Глечик, ты?

– Что вам, товарищ старшина? Может, воды? Может, шинель подстелить? Свиста уже нет, – говорил Глечик, сразу воспрянув духом оттого, что раненый очнулся. Неожиданная радость приободрила бойца, воодушевила на самоотверженность, он готов был сейчас на все, лишь бы спасти старшину. Но Карпенко опять сомкнул веки и сжал зубы, – видно, говорить он уже не мог.

И тогда в траншее появился Овсеев. Пригнувшись, с винтовкой в руке, он бесцеремонно перешагнул через раненого, обсыпав его землей, и загадочно бросил Глечику;

– Тикай к чертовой матери!

Все еще придерживая голову старшины, Глечик вздрогнул и, не понимая ничего, округлившимися глазами посмотрел вслед товарищу, который тут же исчез за поворотом траншеи. Однако через какой-нибудь миг все стало ясно, и Глечик почти физически ощутил, как жестко столкнулись в его душе два властных противоречивых чувства – жажда спастись и свежая, только что осознанная им решимость выстоять. На минуту он даже растерялся и почти застонал от этой невыносимой раздвоенности. Но на дне траншеи метался в бреду командир. Его окровавленное, потное лицо пылало жаром и судорожно кривилось от мук, а с губ лихорадочным шепотом срывались одни и те же слова:



– Свист, огонь! Огонь, скорее огонь... ох!

Что-то словно обожгло душу Глечика, из глаз его, непрошенные, неудержные, брызнули слезы, Уже не таясь от врага, он вскочил в траншее и увидел Овсеева. Мелькая подошвами и бешено отмахивая левой рукой, тот изо всех сил бежал по канаве к лесу. Захлебнувшись слезами и обидой, Глечик по-мальчишески звонко крикнул:

– Стой, что делаешь?! Стой!..

Овсеев на бегу оглянулся и побежал еще быстрее. Стало ясно – он не вернется. Тогда Глечик дрожащими руками схватил пулемет, перебросил его на тыльный бруствер и, почти не целясь, выпустил вдогонку беглецу все, что оставалось в диске.

Потом, оторвав от приклада грязную щеку, он увидел далеко в канаве серый неподвижный бугорок шинели Овсеева. Больше до самого леса никого не было. Обессиленный, Глечик в изнеможении опустил руки, осенний ветер быстро сушил его слезы. Боец вдруг почувствовал полное душевное опустошение, притих и, шатаясь, бесцельно побрел по траншее.

Он ходил долго, слепо натываясь на ее стены, и в его округлившись глазах застыла пустота. Споткнувшись о ноги старшины, обутые в кирзовые сапоги, он опустился возле него на колени. Старшина лежал уже неподвижно разбросав в стороны согнутые в локтях руки и слегка обнажив широкие зубы. В нем теперь уже не осталось ничего от прежней командирской строгости, только неясно угадывался в застывших чертах какой-то вопрос, удивление, будто он только сейчас понял, кому из них, шестерых, суждено будет закончить бой,

В поле воцарилась тишина. Ветер настойчиво гнал с неба низкие лохмотья туч. Кое-где в вышине светились прогалины лазури. Между тучами обманчивой скупой лаской проглядывало осеннее солнце, и широкие стремительные тени бесконечной вереницей быстро-быстро неслись по земле.

Это затишье стало постепенно возвращать к жизни измученного Глечика. Как ни тоскливо и безнадежно было оставаться ему одному, но, застрелив Овсеева, он понял, что придется стоять до конца. Безразличный к самому себе, пренебрегая опасностью, боец ходил по траншее и готовил оружие. Пулемет старшины он перенес в ячейку Свиста, трофейный установил справа у разбитой сторожки. Потом туда же перетащил и ленты.

В ячейке Карпенко отыскал последнюю противотанковую гранату, развинтил, посмотрел, заряжена ли, и положил перед собой на бровку траншеи.

Залегшие на пригорке немцы почему-то молчали, но не отходили: то и дело появляясь возле берез, что-то высматривали. Вскоре, свернув с дороги, в поле выехало несколько машин с орудиями на прицепе. Глечик понял: гитлеровцы что-то замышляют. Но прежнего страха он уже не испытывал. В его душе даже шевельнулось злорадство при виде этих многочисленных приготовлений врага против него, одного.

Шло время. Вероятно, наступил уже полдень. Небо становилось светлее, редели тучи, все чаще показывалось холодное осеннее солнце. На ветру постепенно светлели размякшие комья бруствера. Подсыхала дорога. Только шинель Глечика все еще была влажной, испачканной в глине и пудовой тяжестью давила на плечи. Испытывая невольную тягу к теплу и солнцу, боец вылез из сырой тени окопа и сел на бруствер, свесив с колен безвольные руки.

Так, пережив страх и угнетающее опасение за свою жизнь, неподвижно сидел он на переезде лицом к полю, где ездили и ходили немцы, готовясь к очередному удару. В голове бойца лихорадочно пульсировали невеселые мысли.

В сознании необычайно отчетливо предстала абсолютная ничтожность всех его прежних, казалось, таких жгучих, обид. Как он был глуп, обижаясь когда-то на мать, отчима, болезненно переживая пустячные невзгоды военной службы, строгость старшины или нечуткость товарищей, стужу и голод, страх смерти. Теперь все это казалось ему таким далеким и удивительно мелочным в сравнении с нынешним его несчастьем. Да, видно, гибель товарищей была для него первым после смерти отца действительно огромным несчастьем. Подсознательно он чувствовал, что, пережив это, становился иным, уже не прежним робким и тихим Глечиком. Что-то новое, твердое и мужественное, властно входило в его душу...

Между тем из деревни в поле выехала новая вереница машин. Они подались в объезд, в сторону лощины. На пригорке появилось несколько орудий – враги определенно готовились к штурму его позиции. А Глечик хотел жить! Пусть в стуже, голоде, страхе, хоть в таком кошмарном аду, как война, – все равно, только бы жить.

Прищурив глаза, он посмотрел на неяркое солнце: оно было еще высоко и не торопилось на встречу с ночью, так необходимой бойцу. В тот же миг до слуха его донеслись удивительно тоскливые звуки, отчего он еще выше запрокинул голову, всматриваясь в поднебесье. Потом улыбнулся и с

непонятной, неожиданно сладкой болью долго смотрел в небо.

Там, медленно продвигаясь под облаками и надрывно курлыкая, летела в неведомую даль коротенькая цепочка журавлей.

В истерзанной душе бойца ожили полузабытые ощущения далекого детства. Глечик едва сдерживался, чтобы не заплакать, – спазмы непонятной обиды сжимали его горло. Он долго смотрел вслед стайке родных с детства птиц. И когда его глаза уже едва нащупывали в серой подоблачной выси маленькую живую черточку, с неба донесся новый тревожно-отрывистый звук, полный печали и тоскливого зова: "Курл!.. Курл!.. Курл!.. "

Вдогонку за исчезнувшей стаей, из последних сил перебирая крыльями, словно прихрамывая, летел на небольшой высоте отставший, видно, подбитый журавлик. От его почти человеческого отчаяния Глечик вздрогнул. Что-то созвучное своим страданиям услышал он в том его крике, и гримаса боли и жалости искривила круглое мальчишечье лицо. А журавль звал, бросал в воздушную бесконечность напрасные звуки тревоги, махал и махал ослабевшими крыльями, устремляясь вперед своей длинной изогнутой шеей. Но догнать стаю он уже не мог. Поняв это, Глечик обеими руками схватился за голову, заткнул уши, напрягся, сжался в комок. Так, в неподвижности, он сидел долго, сбитый с толку этой безудержной журавлиной тоской. Потом уронил руки, и, хотя в небе уже никого не было, ему все еще слышался переполненный отчаянием журавлиный крик. А в душе его росли и ширились родные образы из того далекого прошлого, которое уходило от него навсегда. Как живая, встала в памяти мать – но не та, приветливая и ласковая, какой была всегда, а убитая горем, встревоженная его, сыновней, судьбой. Вспомнилась учительница Клавдия Яковлевна с ее тихой, неиссякаемой добротой к людям. Появился перед глазами непоседа Алешка Бондарь, а с ним – детские их забавы, походы в Селицкую пуцу и некогда увлекательные игры в войну – самую проклятую из всех бед на земле. Сжалось сердце от старого раскаяния за Людку, выдуманной любовью к которой некогда дразнили его в школе, за что он едва не возненавидел эту девчонку с задумчивыми синими глазами.

Охваченный властной силой воспоминаний, он не сразу заметил, как откуда-то возник тяжелый танковый гул. Боец очнулся, когда на пригорок, зажав в клещи дорогу, выползло целое стадо чудовищ с крестами на лбу. Вокруг загрохотало, задрожала земля. Соскочив с бруствера, Глечик схватил единственную гранату, прижался спиной к дрожащей стенке траншеи и стал ждать. Он понимал, что это конец, и изо всех сил сдерживал в себе готовое прорваться наружу отчаяние, в котором

неистребимою жаждой к жизни все бился далекий призывный журавлиный  
крик...

1959 г.